

18+ Анна Гайкалова
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ



Анна Гайкалова

День девятый

«Издательские решения»

Гайкалова А.

День девятый / А. Гайкалова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-831631-9

Семейная сага о жизни двух кланов — хоровод причин и следствий, побед и поражений в четырех поколениях семей. Верно ли, что детство предопределяет будущее человека? Где грань между дерзостью и отвагой, слабостью и смирением, непоправимой ошибкой и случайным отступлением? Как жить в этом мире, если ты оступился? Как использовать свои ошибки, чтобы они послужили тебе добром? Семья или карьера, любовь или долг, ребенок или много детей? «Евангелие от женщины» — роман «День девятый».

ISBN 978-5-44-831631-9

© Гайкалова А.
© Издательские решения

Содержание

Книга первая	6
Накануне	6
Сонечка	11
В любом гарнизоне	24
Поиграть колодой карт	32
Никогда бы не подумала	42
С цепи сорвалась	60
Была единственная	84
Начиная с этой осени	91
Конец ознакомительного фрагмента.	95

День девятый

Анна Гайкалова

Дизайнер обложки Евгений Палехов

© Анна Гайкалова, 2020

© Евгений Палехов, дизайн обложки, 2020

ISBN 978-5-4483-1631-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Роман «День девятый» – семейная сага, произведение многоуровневое.

Уровень 1, мистический.

По утверждению древней науки Каббалы, Бог создал человека 22 буквами еврейского алфавита. Между большими главами романа располагаются маленькие главки, обозначенные буквами иврита. В них ведется повествование о том, как созревает человеческая душа. В буквенных главах это происходит с Путником, которого природный катаклизм земли заставляет попасть в Пещеру и в изнеможении уснуть там до срока... Пробуждения? Или рождения?

Уровень 2, художественный.

В романе параллельно разворачиваются истории двух кланов. В Москве, не зная друг о друге, растут две девочки, Соня и Вероника. Они даже в одном роддоме родились. История каждой семьи уникальна. Судьбы семей таинственным образом пересекаются и расходятся вновь. Две выросшие девочки встречаются, когда Ника, не выдержав испытаний судьбы, сдает в детский дом своих трех детей, а Соня, которая работает там воспитателем, принимает их. Соня и ее муж Саша забирают эту троицу к себе и у них в семье детей пятеро, ведь двое там уже есть...

Усыновление, перекрест путей, поиск ответов на вечные вопросы, метания души человеческой, прорыв, наглядная картина того, как связаны все люди между собой, и как могут чужие дети стать родными навсегда, а матери – принявшая и отдавшая – друг друга благословить...

Уровень 3, эзотерический. Соня сновидица. Все свои действия она осуществляет с помощью мусульманской провидицы и предсказательницы Хамит. Соня делает обряды, совмещая традиции разных монотеистических религий, – иудаизма, мусульманства и христианства. Она уверена, что Бог хочет единства для своих детей. Молитвы и обряды Сони посылают ей вещие сны, которые помогают решать проблемы и предотвращают беды семьи. Впрочем, прислушаться к знакам Соне удастся не всегда...

Книга первая

Накануне

Накануне Соня долго не могла уснуть. Сначала ждала возвращения младшего сына, который в эту ночь немного загулял и вернулся около двух. Она покормила его и потом долго лежала в постели, а сна не было.

Наконец перед закрытыми глазами появились «картинки» – мелькания, похожие на короткометражные фильмы. Они возникали на границе яви и сна и всегда означали, что долгожданный отдых близок. Если не спугнуть. Стоило раздаться случайному звуку или шевельнуться – все бесследно исчезало, и лежи потом до бесконечности. Изматывающая штука, особенно если завтра вставать рано. Поэтому появление «картинок» Соня всегда встречала с радостью и даже мысленно говорила спасибо кому-то, кто, наверное, управлял снами.

Она и на этот раз сказала: «О, спасибо!», хотя на внутреннем экране возникли и закружились весьма неприятные рожи. Что именно «показывали», значения не имело, главное, что хотя бы четыре часа удастся поспать. Она затаила дыхание, чтобы не шевелиться, и, продолжая радоваться, уснула.

Ей показалось, это началось сразу.

Она ехала в своей машине и остановилась перед перекрестком, поняв, что в сквере посередине площади случилась авария. Оставив машину, пошла посмотреть, в чем дело.

По-видимому, там недавно произошло серьезное столкновение. В одной из машин ехал какой-то американец, ВИП-персона. От удара он вылетел из кабины, исчез, и теперь его искали. Соня во сне знала, что машина словно упала откуда-то сверху и разбилась о землю. Все собравшиеся на месте аварии разглядывали огромную воронку, залитую чем-то красным (кровью?) и чем-то желтым, маслянистым. Земля вокруг разворочена, в комьях, да и вообще все, находящееся в зеленой зоне, напоминало скорее послевоенный пейзаж, а вовсе не маленький сквер в пределах Садового кольца бурлящей жизнью столицы.

Протиснувшись поближе, Соня заметила женщину, стоящую на коленях у воронки. Женщина была не в себе, она разбрасывала комья земли руками, вскрикивала и приговаривала: «Ну, сделайте же что-нибудь! Я сейчас! Я смогу! Я достану тебя!»

Появился ОМОН – в касках, с дубинками, саперными лопатками и оружием. Бойцы бежали со всех сторон, вытесняя потрясенных прохожих за ограду сквера.

Соня захотела помочь несчастной рыдающей женщине, приготовилась броситься и поддержать ее, но поняла, что с этой ужасной воронкой, которую потом засыпало взлетевшей землей, так просто не справиться. Взгляд пробежался вокруг в поисках палки или какого-нибудь другого предмета, подходящего для рытья.

Тем временем бойцы оцепили воронку одним кольцом, а сам сквер – другим, и стало ясно, что сейчас они начнут раскопки сами. Исчезнувший американец слишком важен, случайные люди не должны находиться рядом, это Соня во сне понимала.

Женщину взяли под руки, подняли и увели. Начали разбирать завал, но тут же остановились. Кто-то сказал, что под землей американец мог оказаться в любой позе, поэтому надо действовать предельно осторожно. Снова возобновили раскопки, но теперь уже работали тщательней, медленно погружаясь все глубже.

Некто полупрозрачный объемной тенью прошел мимо, и неожиданно Соня подумала, что «персону» неправильно ищут. От чего образовалась воронка – вопрос другой, но сам американец мог от удара отлететь куда-то и находиться теперь не здесь, а совсем в другом месте.

Надо рассказать о своей догадке! Соня попробовала заговорить с омовцами, но ее никто не слушал. Тогда, огорченная и растерянная, она подняла глаза вверх и вдруг увидела в ветвях высокого клена, над воронкой, мальчика лет четырех в клетчатом сером пальтишке и шапочке, завязанной под подбородком, как одевали детей раньше, в Советском Союзе. Он смотрел вниз, в глубину воронки, в которой виднелись открывшиеся крупные корни клена и обломки серого блестящего металла, напоминающие крылья летательного аппарата, – по-видимому, остатки разбитой машины. Мальчик казался спокойным, чересчур спокойным. Он наблюдал за происходящим взрослым печальным взглядом.

Заметив его среди ветвей, Соня вскрикнула пронзительно, ее крик услышали и мальчика обнаружили. Омовцы в изумлении уставились на ребенка, поняв, что он и есть та самая «персона», которую так важно найти, хотя Соне и казалось в начале сна, что пропавший американец – немолодой круглолицый мужчина.

Все засуетились, стали перемещаться, отменять одни команды и давать новые, чтобы немедленно оказать помощь ребенку. Неожиданно мальчик посмотрел на стоящую недалеко от дерева Соню и сказал:

– Хочу к этой тете.

«Вот это да... Как же теперь быть?» – подумала она, а бойцы и их командиры, обращаясь к ребенку на «вы», принялись объяснять мальчику, что его надо немедленно отвезти в больницу, обследовать, ведь он мог получить серьезные травмы.

Тем же спокойным, но не допускающим возражений тоном мальчик произнес:

– Нет. Хочу только к этой тете. Все повернулись к Соне, и наступила тишина. Уже понимая, что не откажет ребенку, однако еще чувствуя замешательство, Соня ответила:

– Да, но... видите ли, моя машина... она осталась там, за перекрестком...

– Не беспокойтесь, вашу машину перегонят. Вы можете отдать свои ключи и ни о чем не тревожиться, – сказал тот, кто был главным. И, видя, что Соня все еще сомневается, добавил: – Вы поедете со специальным сопровождением в нашей машине. Там есть все необходимое оборудование. Вы меня поняли?

Она осознала только одно: по-другому ей не позволят. Тогда, передав ключи от машины одному из бойцов, она протянула мальчику руки. Их глаза встретились, и Соня почувствовала, что сердце ее дрогнуло. Ребенок нащупал ногой нижнюю ветку и приготовился спускаться.

Она проснулась и сразу почувствовала боль в теле. «Предханальное состояние», – вынесла себе Соня любимый, ею изобретенный диагноз, и сразу подумала о сне. Это уже второй интересный для нее сон за последнюю неделю. Больше двух лет до этого сны не снились, но по старой привычке, не открывая глаз, она восстановила увиденное и подумала, что если снова какая-то душа решила причалить к ее пристани, то, значит, ей еще рано умирать.

Нечаянно она снова задремала, провалилась в какие-то неведомые глубины и почерпнула, наверно, оттуда свежих сил, потому что, проснувшись снова, уже чувствовала бодрость, несмотря на боль в суставах и резь в глазах.

Алик с вечера погрузил в ее машину коробки. Задремав, она потеряла пятнадцать минут, теперь оставалось позавтракать и ехать быстрее. Впрочем, все эти сроки Соня устанавливала себе сама. Ее никто не подгонял, но она любила пунктуальность и всегда приезжала на базу к самому открытию, чтобы попасть туда в числе первых.

Соне нравилась ее работа. Три раза в неделю она привозила цветы, много цветов в симпатичный магазинчик в центре города. Иногда выбирала цветы сама, но чаще это был заказ, который делал магазин. Рассмотреть товар с учетом «слабых мест», расцветок и сочетаний, оплатить, упаковать, погрузить, отвезти и разгрузить – все это входило в ее обязанности. «Погрузить-разгрузить» – нелегкая штука. Но Соня делала зарядку, укрепляла спину, руки и пока справлялась.

Она порезала зеленое яблоко, творог размяла и немного развела горячей водой. Холодного утром не хотелось, но перед едой нужно выпить стакан воды, что она и сделала с отвращением. Черпанула ложку меда. Теперь вкусно. Она завтракала так уже несколько лет, с тех пор как решила похудеть. Кофе выпила, обжигаясь и жмурясь от удовольствия. Пошла одеваться.

Перед самым уходом опять подумала о сне и усмехнулась. Было интересно. Постояла немного перед дверью, потом подняла глаза и посмотрела на Образ.

– Ну что, Любимый? – сказала Соня Ему. – Опять мы с Тобой за старое?

Он не ответил.

– Пусть приходит, конечно, – продолжила она. – Хотя я это плохо себе представляю. Это сколько же лет мне еще трубить? А когда на лавры? – И покачала головой.

Было воскресенье. Она заглянула в комнаты к спящим детям, в прихожей присела к сонной собаке, которая немедленно подняла лапу, приглашая погладить себя по животу. Теплое пузо цвета топленого молока отняло еще полминуты, затем Соня встала, вышла из квартиры, тихонечко закрыла дверь и спустилась вниз.

Небо как будто скомкали, оно висело тяжело и низко. Накрапывал дождь. Соня постояла немного, разглядывая тучи, села в машину, закурила и поехала.

Перед поворотом на Каширское шоссе ее остановили.

– Старший инспектор ГИБДД Радков. Ваши документы.

Соня порылась в сумочке, вытащила права и протянула в окно. «Черт, – подумала она, – я так классно летела...»

– Пройдите в машину, пожалуйста. – Инспектор махнул жезлом в сторону притаившегося за кустами милицейского автомобиля.

Она тяжело вздохнула, вышла. Пройдя несколько шагов и еще раз вздохнув, уселась в служебную машину.

– Софья Осиповна... – прочитал в правах тучный инспектор и, не поднимая глаз, продолжил: – Вы знаете, что на этом участке пути разрешенная скорость шестьдесят километров в час? А вы ехали со скоростью девяносто два.

Соня снова вздохнула:

– Да. Знаю. Москва пустая, инспектор, а я проспала на работу. Денег у меня все равно нет. Детей пятеро.

– Правда пятеро? – покосился инспектор.

Соня смотрела вперед через забрызганное дождем стекло машины.

– Говорите, на работу спешили? – листая права, задал нехарактерный вопрос инспектор. – И кем вы работаете?

Перед окном милицейской машины стоял «лансер-универсал», в котором плотно уложенные крупные коробки практически перекрывали сквозной обзор.

– Грузчиком. – Не поворачивая головы, Соня покрутила глазами и несколько раз зажмурилась, чтобы прошло ощущение «песка» под веками.

Милиционер посмотрел на пассажирку. Рядом с ним сидела немолодая женщина с худым, усталым лицом. Ее слишком тонкие руки с выступившими венами выглядели натруженно. Он подумал, что вряд ли она могла погрузить что-то тяжелее дамской сумочки. Впрочем, инспектору на своем веку приходилось общаться с таким множеством разных людей и выслушивать такие замысловатые рассказы, что он уже ничему не удивлялся. Остановленная машина действительно набита до отказа, а женщина на соседнем сиденье серьезна. «Чертово племя. Захребетники», – подумал инспектор про детей, и не столько про трех своих, сколько про всех вообще. «А ведь не врет», – решил он, но все-таки уточнил:

– Грузчиком. Вы.

Она покосилась, хотела сказать: «Ну и что?», но промолчала. Инспектор уставился в стекло. Через пару минут он вздохнул:

– Я все равно должен вынести вам устное предупреждение.

– Конечно, – согласилась Соня и подумала, что ей везет на хороших людей.

Через несколько минут она пересела в свою машину и на минуту закрыла глаза. Внутри тепло, пахло легкими духами. Она посидела немного, снова вздохнула и, как это бывало всегда, произнесла вслух: «Какое же счастье... Дай Бог здоровья Вере и Матвею, и да превысят блага Твои, Господи, их самые смелые мечты...»

Соня достала диск Рахманинова, поставила Второй концерт, свою любимую третью часть, которая всегда разгоняла в ней энергию не хуже, чем тренажер – кровь, открыла окно, закурила и тронулась с места.

Согласно древнему сакральному учению Бог сотворил человека двадцатью двумя буквами иврита...

(алеф) א

Их готовили к походу тщательно.

Восхождение должно было стать судьбоносным, победителям оно открывало прежде невиданное.

Получив сигнал, они устремились вверх, забывая и познавая себя, сливаясь с горой, теряя из виду вершину, и им казалось, что они и гора – едины.

Они восходили, чтобы завершение стало началом. И не существовало расчета, а было только усердие и импульсы воли, которые размыкали преграды.

Ограниченные тропой, они двигались так, как будто пределов не существовало. Подчиненные единому закону, они желали покорять природу и повелевать.

В преодолении промежуточных вершин восхождение длилось.

Но внезапно они ощутили дрожь.

Волны, возникшие в глубине планеты, передали свой трепет ее породе и возмутили воды земли.

Время повернулось вспять, потоки стеклись и взмыли. Еще немного – и материнское облако смерча стало затягивать небо, которое темнело, менялось, искрило и приобретало цвет ртути.

Путники, подхваченные нарастающим ветром, сбились с пути.

Они утратили надежду найти выход из этих внезапно возникших лабиринтов, где теперь не было ни солнца, ни света, но вдруг...

Там, вдалеке, еще возможна жизнь!

Погибающие путники ощутили это инстинктивно. В содрогающемся пространстве они еще пытались двигаться вперед, заметив углубление в отвесной скале.

Одним удалось подняться. Другие, смирясь, низверглись. Но вот новый порыв ветра, и опережая друг друга, путники бросились к входу. Один из них проник внутрь. Освобожденная вода лопнувшего смерча увлекла за собой деревья и камни, и не успевшие спастись стали частью потока. А тот, кому повезло, пересек линию входа, как порог дома, в надежде на милосердие хозяев.

Путник был слишком напуган, он еще чувствовал холод смерти. И хотя она больше не дышала в спину, насыщенная его погибшими собратьями, он был осторожен и недоверчив.

Своды пещеры излучали покой.

Путник еще прислушивался, медленно двигаясь в глубину, где таился крошечный грот. Голос ручья поманил, и путник устремился к нему как к новой жизни.

Сокровенное пещеры окружило, обнадеживая и подбадривая. Путник осознал встречу и, потрясенный, замер. Это место принадлежало ему, он видел его в своих снах, грезил о нем, не чая реальной встречи.

Он примкнул к роднику и познал его вкус. В следующее мгновение он расслабился, прильнув к стене своего нового вместилища, и слился с его первоосновой.

Пещера хранила себя для стремительного и отважного, для самого сильного и жизнестойкого. Только такой мог быть достойным ее сокровищ.

Она дождалась своего победителя, и великая мистерия началась.

Сонечка

Сонечка так и не вспомнила, где бабушка познакомилась с этой странной семьей. Две девочки-погодки лет десяти-одиннадцати, а Соне тогда было восемь. Мать сестричек оказалась всклокоченной, отец – пьяным. Сониная бабушка – брезглива. Всегда нарядная, причесанная, яркая, пышнотелая, но в походке легкая, она даже на бульварах подстилала салфетку, прежде чем сесть на лавочку, а в этом доме стоял плохой запах. Соня лучше других знала, что бабушка никогда бы не пошла в гости к кому попало. Как ее угораздило явиться в этот обшарпанный дом, непонятно. Конечно, Соня ничего такого думать не могла, потому что ей всегда говорили, что думать она не умеет. Но это то, что она чувствовала. И что запоминала.

Девчонки проштрафились, мать накричала на них и заставила встать в угол на колени, сыпанув перед этим на пол крупу. Сестры, одна длинная и тощая, другая маленькая и плотная, безропотно встали на колени и стояли, повернувшись спинами ко всем. От них Соне передалось ужасное чувство обиды, и ей стало неловко. К счастью, бабушка довольно быстро внучку увела.

Дома Алевтина, или Тина, так звали бабушку, поставила перед Соней обед – ненавистный борщ, в котором, как всегда, плавали крупные ошметки переваренного лука.

– Не буду я это, у меня от борща сопли текут. И еще там лук. – Соня хотела отодвинуть, но боялась расплескать наполненную до краев тарелку. Попыталась отодвинуться вместе со стулом, который бабушка поставила к столу почти вплотную. Но тяжелый старый стул с высокой спинкой как будто врос в пол.

– Ничего, просморкаешься. И никакого лука там нет. Ешь немедленно! – У Тины глаза заискрились, вся она сделалась какой-то танцующей. Соня однажды видела, как танцуют марионетки в кукольном театре, и заметила, что бабушка становилась похожей на них, когда у нее появлялась возможность показать себя. Особенно часто это случалось при разговорах с посторонними, например в магазине или троллейбусе. Впрочем, иногда преображение могло произойти и перед зеркалом, когда Тина думала, что она одна.

«Если откажусь, – сказала себе Соня, – она сделает со мной то же самое, что с девчонками их мамашка».

– Не хочу. – Качнула пухлой ножкой, чтобы сползла с ноги и хотя бы немного нашумела, стукнув об пол, тапка, потом слегка потянула на себя скатерть. Взгляд она направила в потолок, но так, чтобы видеть бабушку.

– Встань немедленно в угол на колени! – Тина выдвинула стул, взяла Соню за руку, подвела к шкафу и ткнула вниз. С угрюмым торжеством девочка опустилась на пол: «Я так и знала!»

Она стояла на коленях, потихоньку обдирала обои за шкафом и ненавидела свою бабушку, причем не за наказание, а за отсутствие собственного мнения. Слова, которые Соня твердила себе под нос в эти минуты, она запомнила крепко: «Все, что увидит у других, делает! Ничего сама не может! Я никогда так не буду, никогда! Ну, погоди, я тебе что-нибудь придумаю!»

Тем не менее, что бы она ни придумала, а самовольно встать с колен все же не осмелилась.

Тина, впрочем, свой эксперимент продолжала недолго. Как будто посмотрев на все со стороны, она удовлетворилась результатом и вскоре махнула рукой: «Вставай уже». Глядя потом на испорченную стену, Соня много раз повторяла себе свои слова: «Я никогда так не буду. Ни за что!»

Ей разрешалось гулять во дворе одной. Дом стоял в тихом переулке, двор был замкнутым, квадратным, в него вела арка. Тина выпускала внучку из квартиры и ждала на лестнице, пока

не хлопнет дверь парадного. Уже через две минуты Соня была внизу, в безопасности двора, а бабушка посматривала за ней из окон.

Тина варила потрясающую гречневую кашу. Приносила с кухни в комнату кастрюлю, захваченную тряпками, под крышку закладывала огромный кусок сливочного масла, затем кастрюлю заворачивала в газеты и ставила под подушку для упаривания. Если эту кашу есть не с молоком, а с сахаром, то остановиться невозможно – такая вкуснота.

Как-то раз Соня до отвала наелась любимой каши и собралась гулять. Бабушка была занята, Соня вышла на лестницу одна и, едва дверь закрылась, услышала детский плач. Пухлая и неуклюжая, она тяжело побежала вверх. Ей показалось, звук шел оттуда, и она уже представила, что сейчас, как в кинофильме, который они с бабушкой смотрели однажды, найдет подкидыша, прижмет его крепко-крепко, принесет домой, и, конечно же, ей позволят оставить себе малыша. Ведь раз подброшен, значит, никому не нужен!

Но наверху никого не оказалось.

– Не плачь, миленький! – забормотала Соня и по перилам скатилась вниз, но из-за переполненного желудка привычного удовольствия не получила.

Никакого ребеночка не было и там. За распахнутой настежь дверью парадного лежал и надрывался, придавленный кирпичом, крохотный рыжий котенок. Кирпич Соня с ужасом отодвинула.

Она немного расстроилась: ребеночек был бы лучше! Но и котенок – находка. Подняла, бережно прижала к груди, бросилась домой. Бабушка с мамой, которая на пару дней приехала в Москву, заставили ее немедленно вымыть руки, но котенка взяли, с грехом пополам напоили молочком и уложили между двух теплых грелок. Вечером они о чем-то шептались, но счастливая Соня со своей находкой этого не связала.

На следующее утро, когда она проснулась, котенка не было.

– Он убежал. – Тина сокрушенно вздохнула, накручивая бигуди, и предложила внучке пирожки с мясом из ресторана «Прага». – Поешь, Сонечка, твои любимые!

– И я тоже чайку попью, – подхватила Берта, мама Сони. – Ты не расстраивайся, Соньк, давай лучше мы с тобой поедим вместе!

– Давай пойдем погуляем? – сдерживая слезы, попросила Соня, ни на что, впрочем, не надеясь, но пирожок все-таки взяла.

«Кипучая, могучая, никем не победучая!» – спела Берта вместе с радиоприемником, засмеялась, тоже вытащила золотистый слоеный пирожок из коричневого бумажного пакета, надкусила, сказала, что погулять пойти не сможет – много работы, и отправилась на кухню ставить чайник, захватив с собой спички и «Беломор». Когда она вернулась, Соня уже свой пирог съела, и еще один съела, а потом залезла под стол играть со старой куклой Зоей и завелась простынькой, чтобы никого не видеть.

Сколько себя помнила, она постоянно притаскивала домой всякую покалеченную живность, кроме собак, которые просто не попадались. Но голуби, несмотря на перебитые лапки, улетали, хомячки сбегали, и неизвестно куда уползали черепашки. Тем не менее Соня никакой закономерности в этом не находила и каждый раз страдала, как впервые.

В конце концов ей подарили кенаря, в день рождения на десять лет. И очень серьезно предупредили, что кенарь, тем более певчий, не может жить в соседстве с другими птицами и животными, это для него опасно и вредно.

Рыжий маленький котенок Соне снился. И все-таки не пойман – не вор. Сама она врать не умела и в бесчисленные побеги своих питомцев верила. Умом. Или тем, что вместо. Она послушно считала, что с головой у нее не порядок, потому что Тина частенько говорила: «У этого ребенка вместо мозгов – вата». «Ну и пусть их, эти мозги», – считала Соня. В душе она знала, что, кого бы ни принесла, все непременно сбегут. Она смирилась с кенарем и, хоть его и нельзя было к себе прижать, по-своему полюбила.

Через полгода кенарь заболел, и бабушка привела в дом неопрятного, похожего на дворника дядю Гришу, мужика, у которого рубаха была спереди заправлена в штаны, а сзади болталась, и штаны болтались тоже. Мужик посмотрел на птичку, пообещал, что вылечит ее, и вместе с кенарем ушел. Соне показалось странным, что этот дядька разводит птиц, как сказала бабушка. Слишком уж он обыкновенный для такого тонкого занятия. Но дальше этого мысль не продвинулась. Может быть, тому виной была ватная голова. После того как дверь за мужиком закрылась, Соня снова залезла под стол, занавесилась скатертью и сидела так, ни о чем не думая. Одно было ясно наверняка. Больше у нее никого не будет. Они – бабушка и мама – не позволят.

Маму Соня видела редко и почти про нее не вспоминала. Отец, о котором Тина говорила, что он «приходит навестить ребенка раз в полгода», и тот казался ближе. Но Соня не помнила в этот вечер и о нем. Тина уложила ее спать в облезлую металлическую кровать с сеткой по бокам, изголовьем вплотную подвинутую к дивану, на котором спала она сама, погасила свет и ушла в коридор к кому-то из соседей.

– Ты засыпай, я скоро приду, Сонечка, – игриво сказала она. – Я так сегодня устала, так устала, прям помру, не доживя века!

Соня решила сделать бабушке приятное. Она перелезла через спинку кровати на диван, тихонечко спряталась под одеялом и замерла от удовольствия и предвкушения: «Сейчас бабуля придет, ляжет, а там я, и она меня обнимет, и будет так хорошо!»

Бабушка действительно скоро вернулась, сняла халат, легла и, конечно же, почувствовала рядом с собой чей-то теплый бочок. Соня улыбнулась и зажмурилась.

Внезапно Тина закричала – громко, хрипло, ужасно. От крика и от неожиданности у Сони заложило уши. Но это было только начало. Остановив свой вопль, Тина приподнялась, взмахнула руками и, откинувшись на подушки, замерла без движения.

Соня испытала больше чем испуг. Ей показалось, что сердце у нее перепрыгнуло в голову и сейчас голова лопнет. А вдруг она убила свою бабушку, ведь может же человек от испуга умереть! Она с трудом подняла веки и в неплотной темноте отчетливо увидела так хорошо знакомое хитрое лицо. Соня поняла, что это игра, и бабушка заорала нарочно...

«Ненавижу, – подумала. – Ненавижу!» – и полезла через Тину к себе в кроватку, но бабушка попыталась ее остановить, сделав вид, что очнулась от обморока. Картинно изогнув кисть, она описала дугу рукой:

– Ну ладно, Сонечка, полежи уж со мной.

«Ненавижу!» – снова подумала Соня. Она вырывалась, сопела, отбивалась, а когда Тина отстала, отвернулась в своей кровати к стене. Она еще долго не спала, лежала и смотрела в ковер. А заодно выщипывала из него по ворсинке. Соня повторяла: «Я никогда так не буду! Никогда не буду пугать!» На следующий день она любовалась плодами своего труда – плешинной ковра – и еще повывирала немного, бормоча себе под нос, что никогда не будет пугать своих детей.

Бабушка кормила любимую внучку бутербродами с черной икрой, одевала в платья с накрахмаленными кружевами. Щеки у Сонечки в пол-лица. В льняные волосы внучки Тина вплетала огромные банты, и Соне казалось, что ее уши притянуты к темечку. Банты снимались только перед самым сном, а волосы еще долго не хотели улечься, и к голове было больно прийтронуться. Знакомые называли Соню «девочка-кукла» или «воплощение счастливого детства».

– Дорогая, какой прелестный ребенок! Чем вы ее кормите? – спрашивала Тину случайная попутчица на бульваре.

– Отборным зерном! – И Тина так высоко поднимала голову, что и Соне, и попутчице становилось ясно: эта дамочка очень непроста!

– Ба, меня опять дразнили, что у меня штаны видны, – канючил дома «прелестный ребенок».

– Ничего у тебя не видно, все они врут! – отвечала Тина, но Соня точно знала – видно, даже ей самой у зеркала видно, тем более с лестницы, и все будут опять смеяться.

«Сама ты все врешь! И про мерзкий лук в борще, и про штаны! Всегда все врешь!» Это Соня не думала, а просто знала. Но молчала. Спорить бессмысленно, Тина никогда с внучкой не разговаривала, обрывая все ее попытки что-либо объяснить. «Молчать, пока зубы торчат!» – шутя, отмахивалась она и уходила, кокетливо пожимая округлыми плечами. Если же Соня пыталась настоять на своем, то могла получить по голове деревянной ложкой, которая у бабушки всегда была под рукой. Девочка предпочитала не рисковать и говорила себе, что врать своим детям она не станет.

Все Сонино детство они были вместе – бабушка и внучка. Тина так хорошо ухаживала за ребенком, что ребенок этот действительно выглядел как выставочный экземпляр. Бабушка знала, что внучка кушала и чем какала, но не имела доступа к ее душе, вряд ли догадываясь, что душа у ребенка есть. Соня же слушала беседы бабушки с подругами, с отдаленной родней и укреплялась в уверенности, что не хочет так говорить, так ходить, так дружить и так ссориться. Здесь она не хотела быть похожей ни на кого.

Совсем по-другому относилась она к семье отца. Там люди говорили о непонятном и не повышали голоса, даже если назревал конфликт. Впрочем, Соня всегда точно угадывала, если кто-то недоволен. Она чувствовала мир кожей, которая реагировала на все, что происходит вокруг, мурашками, холодом, жаром... Мыслями это практически не сопровождалось.

Обе семьи Сониных родителей друг друга на дух не переносили и любили поговорить на эту тему. Родственники произносили разные слова, но Соне это важным не казалось. Главное, что она нигде не чувствовала любви. Тина не стеснялась в выражениях и чаще всего называла Сониного отца «сволочь». В семье Осипа принято было, понижая голос, сообщать друг другу, что ребенок «растет под плохим влиянием».

Однажды летом Соня получила письмо от отца. Тина это письмо отняла и зачитала вслух, а вечером поделилась с подругой по телефону: «Он отдыхает на юге и пишет ребенку, что обедается клубникой! А ребенок ни ягодки не съел! Сволочь какая!»

Соня не хотела клубники, радовалась, что папе вкусно, и не понимала, почему, раз он об этом пишет, то он опять «сволочь».

Бабушка читала внучке книжки за едой – «Волшебник Изумрудного города» и «Чиполлино». С трех лет и до десяти других книг у Сони не было. «Потому что, – как правило, говорила бабушка, – самое главное, что у ребенка в желудке. В голове все потом само нарастет. А пока что там нет ничего. И быть не может. Это ведь ребенок!» Но в этом правиле бывали исключения, если Соне не верили или в чем-то подозревали.

Летним вечером в съемной квартирке небольшого южного городка дети весело играли втроем: девочка лет восьми, мальчишка на пару лет младше и сама Соня, которой уже исполнилось девять. Они устроили кучу-малу на кровати, кувыркались, лопотали всякие глупости и смеялись. Вдруг на пороге возникла Тина.

– Это чем же вы тут занимаетесь? – Голос бабушки загремел, настроение у детей сразу испортилось. – И почему это Сашина рука у Сонечки в трусах?!

Каким-то чудом Соня поняла, что ее оскорбили, с ревом выбежала на улицу и понеслась по ней, спотыкаясь о булыжный тротуар. Шлепнулась, разбила коленку и локоть, но поднялась и побежала дальше, слыша за стеной крики бабушки:

– Соня, стой! Остановись, окаянная сила!

Тина всегда так выражалась, это были ее любимые слова: «окаянная сила», «паразитка» и «бесстыжие глаза». А еще она говорила: «Твой номер восемь, когда надо – спросим».

Бабушка бежала довольно быстро. Соня снова споткнулась и была поймана. Тина прижала внучку к огромной горячей груди, отдышалась и сказала: «Куда тебя понесло, окаянная?»

Не ребенок, а сплошной ущерб для нервов! Пойдем, молочка попьешь сейчас. Вот о чем ты только думала? Понеслась, видали!»

Соня считала бабушку чрезвычайно древней, ведь ей пятьдесят пять лет! В тот вечер она простила своей «старушенции» обиду ради слов, которые та произнесла. «Я думала», – повторяла про себя девочка, забыв обо всем остальном. «Тина сказала, что я думала. Значит, я думать умею!» Это было открытием.

После завтрака по воскресеньям, в каникулы и в часы огорчений Соня залезала под письменный стол в углу комнаты. Там пахло пылью, чесноком из стенового шкафа и ржавой батареей, которая слегка подтекала, и поэтому под нее ставили зеленую кастрюлю с отбитой эмалью. Тут Соня всегда была одна, и это ей очень нравилось. Она занавешивалась тряпками, чтобы не просвечивало, включала радио и слушала детские передачи, слегка покачиваясь. Под столом можно узнать много новых сказок, не тех, к которым она привыкла.

Коммуналка в центре Москвы, где жила Соня, устроена обыкновенно. После квадратной прихожей тянулся длинный коридор, в конце коридора за отдельной дверью – большая темная комната, а в ней двери по сторонам. Темная комната делилась между бабушкой и соседкой, бабушкину половину разгораживала поперек резная ширма. Перед ширмой на стене висели пальто, внизу на плетеном половичке стояли башмаки. Тут не было ничего интересного. Зато за ширмой обитали огромный кованный сундук, этажерка с Сониными медицинскими сокровищами, добытыми у отца, и пара табуреток. Девочке иногда разрешалось играть в коридоре, и тогда она думала, что это помещение принадлежит исключительно ей. И Соня играла в свою любимую игру: рассаживала кукол за парты, проверяла тетради, которые сама склеила и сшила, выставляла отметки.

Куклы часто болели. Тогда Соня забирала их из «школы» и отправляла на другую часть сундука – в «больницу». Животы кукол разрезались, потом сшивались и мазались йодом. Тряпичные Сонины игрушки под одеждой оказывались обезображенными, но девочка чувствовала себя счастливой. В эту игру она могла играть очень долго. Она была одинока, но не искала общества других детей. Она не умела общаться и всегда существовала отдельно.

Во дворе дети играли в классики и прятки, но Соне было неинтересно – по правилам. Например, когда «вода» считал, вместо того чтобы прятаться, она могла спокойно стоять рядом. Когда слова «я иду искать» должны были вот-вот прозвучать, Соня отходила на два шага и садилась на маленькую лавочку лицом к тому, кто водит. Водящий отнимал ладони от глаз, несколько секунд смотрел на нее с недоумением и отправлялся на поиски тех, кто спрятался. Тогда Соня подходила и «выручалась». Мальчишка возражал, что это нечестно. «Почему?» – улыбалась Соня. Да, она считалась вместе со всеми. Но она же не виновата, что он не видел под носом, а если видел, то не догадался застучать!

Одну и ту же шутку повторять невозможно, и Соня придумывала новые развлечения. Можно сбивать того, кто говорил считалку. «Катилась торба с высокого горба...» – бубнил кто-то. «С корявого горба», – влезала Соня, глядя серьезно, и говорящий сбивался, но начинал снова. В другой раз слово «корявый» менялось на «прыщавый», затем на «трухлявый». Ребятам эти штучки не нравились. А Соня хотела знать, что станет делать человек, если повести себя не так, как все. Она была очень миролюбива и никого не собиралась обижать.

У одноклассницы Мариночки много колечек, сплетенных из цветной проволоки. Однажды Соня попросила подарить ей одно. Договорилась поменяться, и Соня принесла мамино золотое кольцо, которое потихоньку достала из шкапулки. Теперь у нее на пальчике тоже появилась синенькая модная штучка.

Через несколько дней Соня услышала, как мама в беседе с Тиной жаловалась, что пропало ее обручальное кольцо. «И не ищи, – говорила Тина. – Это же ясно, куда оно делось. Он же приходил недавно за Сонечкой. Кто дал, тот и взял!» Соня догадалась, что Тина опять обвиняет отца. И побежала к Мариночке. Но Мариночка ответила, что обратно она не меняется. Тогда

Соня выбросила сплетенный кусочек проволоки, он больше не радовал ее. Но признаться маме и бабушке она побоялась. Так ничего и не сказала, снова испытал стыд и ненависть: к Тине – за поклеп, к себе – за трусость.

Изредка появлялся отец. За него Соне тоже бывало стыдно, но только в редкие моменты, когда он выражал недовольство плохим обслуживанием в магазине или в транспорте, если кто-то из граждан недостойно, по его мнению, себя вел. Тогда отец произносил длинные монологи про облик советского человека, а Соня не могла поднять глаз на окружающих, потому что считала, что советский человек повышать голос не должен, даже если люди неправы. В остальное время Соня своим папой гордилась.

Синеглазый, кудрявый блондин, отец «пел песни на французском, как шансонье». Именно так говорили о голосе Осипа его родственники. Находясь в своей среде, отец демонстрировал безупречные манеры и, по мнению дочери, был прекрасен. Она любовалась им, но он оставался недостижимым. Соня, обмирая, говорила «Папа!», протягивала ему ручку, смотрела, пытаясь заглянуть в глаза. А он возвышался над ней, недоступный пониманию красавец, и каждый раз вел ее в ресторан «Прага», кормил взбитыми сливками, говорил, что она не умеет себя вести, и возвращал бабушке. Он уходил, пообещав, что завтра позвонит, чего ни завтра, ни в ближайшие дни не случалось. Но, как всегда это бывало, «завтра» Соня упорно сидела под телефоном в коммунальном коридоре, а бабушка делала все возможное, чтобы ее оттуда увести, шипя: «Заморочил голову ребенку, сволочь такая!»

Отец женат, дочь жены называла его папой, что Соне было не особенно приятно. Семья жила вместе с матерью отца, Сониной второй бабушкой, которая вела себя совсем иначе, не так, как Тина. Имя у «бабушки номер два» очень красивое, и Соне нравилось представлять себе, что ее саму тоже зовут Эстер, или Тэра. Все, что говорила Тэра, было непонятным и очень многозначительным. Соне казалось, она никогда не сможет разобраться в деталях.

Тэра любила рассказывать, как Ленин в семнадцатом году обратился с воззванием к эмигрантам: «Товарищи, вы – наш золотой фонд!» Тогда самые передовые две тысячи человек получили паспорта и выехали в Россию на двух кораблях – «Двинск» и «Царица». Соне было странно, что бабушка жила во Франции и когда-то существовал семнадцатый год, она не могла себе этого представить, да и не очень хотела. Слишком много непонятного находилось вокруг нее в том году, в котором жила она сама.

Семья отца гордилась дедом Соломоном, мужем Тэры – отцом Сониного папы и его брата Эммануила. О Соломоне рассказывали, что он был директором Второго часового завода и Первого тоже – недолго. Его арестовали в тридцать восьмом, это все, что знала Соня.

У отца кроме его семьи, брата с женой и Тэры были еще многочисленные двоюродные и троюродные братья и сестры. Когда они собирались вместе, Соне казалось, что она случайно попала на обед какой-нибудь королевской семьи. Но «ребенка Оси от первого брака» в этой семье не принимали или не замечали. Во всяком случае, так казалось Соне, и это ее не удивляло. Она уже давно усвоила, что не интересна никому.

Родственники отца говорили на идише и по-французски. Они, как и отец, возвышались над маленькой Соней, ей казалось даже, что они сужаются кверху, где беседуют о чем-то неведомом. Соне хотелось сделаться совсем прозрачной, раствориться, исчезнуть, ведь она так неуместна среди них! Высокие, красивые, образованные: «Ах, дорогой мой, вы же согласитесь, что в музыке Берлиоза нет философии!» и дальше на другом языке, но могли бы с русского и не переходить. Соня ничего не знала про Берлиоза, а о философии музыки не только подумывать не могла, но даже привычно почувствовать что-либо была не в состоянии. О чем здесь только не говорили! Впрочем, все это не особенно интересно. Соня по-прежнему оставалась одна, «не их», ничья, никакая и ни за чем.

Совсем другое дело, если кто-то поблизости умирал. Когда Соня встречала похоронную процессию летом, на отдыхе, или оказывалась на похоронах кого-то из знакомых, она всегда

старалась увидеть лицо лежащего в гробу. Она смотрела в это лицо, будто пытаясь понять, что там происходит: под, за, где-то – короче, там, где этот человек теперь. Вставала на цыпочки и вглядывалась, вглядывалась... Она не верила в Бога, она ничего не знала об этом, но чувствовала, что любой лежащий в гробу человек – не конец истории и существует что-то еще. Если в доме, где они жили, кто-нибудь умирал, гроб нередко выставляли во дворе, чтобы соседи могли проститься, и Соня всегда приходила посмотреть, даже если покойного не знала. Тина качала головой и тут же уводила внучку, едва заставляла за рассматриванием умершего. Соня послушно уходила и сразу об этом забывала.

Однажды она вернулась с прогулки с ключом, открыла дверь сама и вошла в квартиру. Метрах в трех от входной двери, прямо напротив, еще дверь, за которой жили две сестры, две противные старухи, о которых говорили, что они обе – старые девы. Это что-то неприличное, чувствовала Соня, но не спрашивала. Не верила, что ответят.

Она вошла в квартиру, но тут дверь напротив открылась, и оттуда навстречу шагнула старшая старая дева, Нина Васильевна. Соня уже открыла рот, чтобы сказать «здрассте», как вдруг с ней что-то произошло. Она ощутила холод, такой пронизывающий, что застыла на месте. Девочка смотрела на Нину Васильевну, но не видела ее. Вместо этого перед глазами развернулась ночь, и закружил снег. Снег опускался на гроб, в котором лежала старуха, белая и ужасная. Соня никогда не боялась покойников, но сейчас ей стало страшно так, что показалось, она тоже немедленно умрет. Возможно, Соня попыталась заорать или побежать, но не двинулась и не закричала, потому что не смогла. Она продолжала смотреть на падающий снег, на гроб и видела, как за ним слегка просвечивает настоящая Нина Васильевна, которая тоже стоит столбом и смотрит вперед сквозь эту кошмарную картину. Соню спасла Тина, чудом появившаяся в коридоре. Она поняла, что ребенок не в себе, попыталась увести внучку, но, поскольку Соня упиралась, крепко схватила ее за руку и силком протащила мимо соседки в комнату. Соня покрылась испариной, дрожала и дышала с трудом.

– Что с тобой, Сонечка, что случилось? – теребила ее Тина.

– Нина! Она... Она...

– Да что случилось?

– Она умрет к первому снегу! – выкрикнула Соня, стуча зубами.

Ее утешили, напоили валерьянкой, сладким чаем, велели никогда не говорить глупостей и уложили в постель. Вечером бабушка тревожно шепталась с соседкой по подъезду, забежавшей в гости. Они все время трогали Сонин лоб. А через три дня выпал снег, и в ту же ночь умерла Нина Васильевна. Бабушка повела Соню к врачу, который выписал ей таблетки. После таблеток Соня становилась вялой и по вечерам едва доносила ноги до кровати. Об истории с соседкой с тех пор не говорили, но Соня помнила.

– Ба, а как это – умирать?

– Не говори глупости. Зачем тебе это?

– Ма, – дожидалась Соня приезда мамы на пару дней, – когда умирают, то что?

– Соньк, ну у тебя и вопросы. Умирают и все.

– Па, – звонила Соня отцу, – ты вот врач. Как люди умирают?

– Извини, доченька, я сейчас чудовищно занят!

В школе тоже было приятного мало, она и здесь все время оказывалась на отшибе. Иногда, правда, на пару минут удавалось стать популярной, хотя лучше бы этого не случилось.

На уроке русского языка класс проходил местоимения и веселился от слова «самое». Вдруг Олег Кац изрек: «Самое Берг есть нечто неопределенное!» И все покатались от хохота. Соня сидела, втянув шею, и усиленно пыталась придумать, что бы такое поумнее ответить. Но ничего в голову не лезло. Кроме самого обычного – назвать вещи своими именами. И тогда она сказала: «На себя посмотри, Кац-Ванхадло». Кац-Ванхадло – реальная фамилия Олега, и, по Сониному мнению, ничего обиднее, чем то, как она звучала, придумать невозможно.

«Гадло-падла-Кац-Ванхадло», – добавила Соня, хоть ей и противно было так делать, потому что этого мальчика она считала хорошим, ведь он обычно не дразнился, а слова «гадло-падла» – плохими. Но тут Олега просто разобрало, и он продолжил свое веселье:

– Сонька Берг, еврейка тамбовская!

У Сони было свое отношение к словам. Например, слово «наплевать» представлялось ей невероятно грубым. Каждый раз, когда его кто-то произносил, она вспоминала то отвратительное выплюнутое, что иногда замечала на асфальте. И Соня «подправила» это слово, вместо него говорила теперь «наплюнуть». Ей казалось, так она никого не оскорбляет, просто делает знак губами: «Тьфу на тебя!»

Вот и сейчас непонятно почему слово «тамбовская» показалось особенно обидным. Кто еврей, а кто нет, Соне, как и многое другое, интересно не было. Она этот поединок проиграла начисто, больше вообще не произнесла ни слова, и даже умный вид сделать не догадалась – сидела и обглядывала ноготь. Поэтому всем стало ясно, что крыть ей нечем, и Олег остался в победителях. К концу дня он подошел к Соне и попросил, чтобы она не обижалась, ведь он тоже еврей. Ей хотелось сказать ему что-нибудь хлесткое, но за виноватый вид пожалела. Решила только выяснить дома, почему еврей – ругательство.

Как ни странно, на этот раз от Сони не отмахнулись. Наоборот, мама, которая случайно оказалась в Москве, посмотрела серьезно, закурила и потом с печалью в голосе и в лице стала рассказывать, что Сонин папенька еврей, а некоторые люди евреев не любят, поэтому лучше на эту тему не разговаривать.

– Я тоже еврей? – спросила Соня.

– Надо говорить «еврейка». Нет. В тебе течет еврейская кровь, но ты русская, потому что мы – русские, а у тебя наше воспитание.

– Точно, – кивнула Соня и про себя отметила, что будь это наоборот, она бы хоть что-то знала о философии Берлиоза. И наплюнуть, что философии этой у него не было.

...Сонины родители развелись, когда ей исполнилось два года. «Это ребенок мезальянса» – так говорили все, кто «по ту сторону», то есть папины. Соня была уверена: «мезальянс» – что-то оскорбительное в ее адрес, она наверняка все время неправильно себя ведет. Русскую Сонину маму семья отца не признавала, а Тину и давно. Папины родственники, видя, как Соня вытирает нос рукой, произносили привычное: «Ребенок растет под плохим влиянием», и имели в виду, конечно же, первую Сонину бабушку – Алевтину. Потому что Сонины мама с Соней не жила.

Берта казалась своей дочери личностью весьма загадочной. Лет до двенадцати Соня не помнила никаких разговоров с ней, никаких совместных прогулок, никаких игр, ничего. Когда мама приезжала из Ленинграда от своего второго мужа, она и сама смотрела на Соню с любопытством, как будто не вполне понимая, как с этим чудищем Соней обращаться. «Чудище» ходило по комнате, поглядывало на маму и стеснялось сесть при ней на горшок, отчего страшно мучилось. Тина посещать общественный квартирный туалет запрещала Соне категорически. До десяти лет только горшок, и Соня спокойно к этому относилась, но не при маме же! Хорошо хоть, что мама как-то об этом догадалась и сказала: «Не стесняйся, Сонечка» и, взяв папироску, ушла курить в коридор. Выносить горшок явилась бабушка и посоветовала Соне не быть идиоткой. «Маму стесняться нельзя, это же мама!» приказала Тина, что было одним их самых весомых аргументов за всю совместную жизнь бабушки и внучки. Обычно, на любое Сонино «почему», Тина отвечала веско, категорично, а главное доходчиво: «На спрос. А кто спросит, тому в нос!» Поэтому Соня запомнила этот случай, – от удивления, и впредь не забывала, что мама – это мама, значит, быть идиоткой никак нельзя.

Образ матери у Сони складывался в основном из услышанного от бабушки. Чаще всего, рассказывая о дочери, Тина говорила: «Бедная Берточка, много работает, диссертация, не дают продвигаться, зря в партию не вступила, вторая сволочь ничуть не лучше, он у нее жадный, как

паразит, ребенок не нужен, надо навестить». Когда созданный образ мамы внезапно материализовывался, Соня испытывала затруднения. Мечтать о маме все же проще, чем с ней общаться. А если звучала фраза «надо навестить», становилось намного интересней, это означало, что Тина снова собирается в Ленинград. Самым приятным в этих поездках для Сони был поезд.

«Бедный ребенок не нужен ни матери, ни отцу» – так Тина говорила постоянно. Но вот, по настоятельным просьбам дочери, она везла Соню в Ленинград, откуда всякий раз уезжать одна отказывалась, несмотря на уговоры Берты оставить девочку ей. Чем больше Берта просила, тем больше Тина старалась доказать, что это невозможно. Она очень артистично и добросовестно старалась: буквально через несколько дней после приезда московских родственников все в доме уже готовы были выть и бросаться на стенку.

В маленькой двухкомнатной квартирке Тина поселялась вместе с матерью зятя, пожилой дамой, которая больше всего на свете ценила покой и уединение. Общась со сватьей, Тина трещала без перерыва, ее голос разносился по всей квартире, и закрытые двери комнат тому не мешали. Сама же Соня попадала к «молодым», где, как всегда, была совершенно неуместна. Мамин муж не испытывал к детям никаких чувств и за несколько лет совместной жизни с Бертой ни разу не обратился к Соне по имени. Наблюдая за ним, Тина все время ходила с хитрым видом и что-то нашептывала дочери, от чего у Берты делалось затравленное лицо. В конце концов, Тина победно увозила Соню в Москву. Берта плакала на перроне, а Соня маялась и чувствовала только одно: поскорее бы все кончилось, и они бы уже поехали, ведь в поезде так спокойно и хорошо!

В девять лет Соня впервые оказалась в пионерском лагере. Вечером, после отбоя, в огромной палате девочки собирались спать. Вдруг одна из них сказала своей подруге, кивая на Соню: «Слушай, а ты не знаешь, она вообще когда-нибудь трусы стирает?» Соня, уже укрытая одеялом, высунулась слегка и произнесла ледяным тоном: «Дура ты. У меня все трусы одинаковые!» А потом долго лежала и ждала, когда все уснут.

Она с младенчества выделялась бантами и накрахмаленными белоснежными оборками. Дома по утрам на ее стульчике всегда лежали аккуратно сложенные вещи. Тина чистюля, и от ее питомицы всегда хорошо пахло. Соня не заставляла бабушку за стиркой, потому что стирала Тина далеко от комнаты, в коммунальной ванной, где ребенку, естественно, делать нечего, если только не вечер, когда бабушка ее мыла. Как Тина гладит, Соня тоже не замечала. Своих занятий бабушка с внучкой не обсуждала, Соне тоже было не до того. Поэтому она понятия не имела в свои девять лет, что трусы надо стирать. К счастью, у нее действительно оказались еще одни такие же трусы.

Она дождалась, когда вся палата крепко уснула, переделась под одеялом и отправилась к умывальникам. Там она долго стирала снятые трусы под холодной водой, пахнувшей ржавчиной, а потом в палате заложила их между матрасами, чтобы просохли. Утром Соня открыла глаза раньше всех и стала ждать момента. Момент наступил, когда все проснулись, но еще не встали. Тогда Соня быстро и незаметно вытянула еще сырые трусы из-под матраса, нарочито медленно пронесла их над одеялом, как будто только что достала из чемодана, чтобы все видели. Переодевалась она долго, возясь, вылезла из-под одеяла со вторыми трусами в руке и гордо прошла мимо своих обидчиц. Все видели, что трусики одного цвета. «Ну, что, убедилась? Дура ты», – приговорила Соня свою соседку, чья репутация с этого дня была безнадежно испорчена, Сонины же спасены. Все остальные трусы Соня на всякий случай уничтожила. А вдруг бы девчонки захотели проверить? Она осталась вполне довольна собой, но снова тихо ненавидела Тину: «Ей что, было трудно рассказать? Вот если бы мама жила со мной, то научила бы, конечно, тому, что умеют все остальные!» И Соня решила, что научит своих детей всему, что будет уметь сама. Чтобы никто и никогда не смог их опозорить! Она все сделает по-другому.

Тина была еще кое в чем не права: Соня иногда думала. Потому что, считала она, человек думает, когда у него в голове появляются слова. Раньше этого почти не происходило, а теперь случалось. Правда, слова не складывались в предложения, чаще возникали одиночно. Например, слово «ура». Или «интересно». Или «ужас».

Это был второй, и последний, пионерский лагерь. Тина предпочитала не отпускать ребенка от себя. Но в это лето Берта задумала сменить мебель, и Тина устроилась подработать – торговала жареными пирожками у магазина «Детский мир». Так Соня снова оказалась в лагере, иначе бы не повезло.

Каким-то чудом в воскресный день ее родители приехали вдвоем. Соня к этому была совсем не готова. Она никогда не видела их вместе, разве что у входной двери, спорящих, во сколько ее вернуть домой, в редкие дни, когда за ней приезжал отец. Соня бежала по дорожке по направлению к маме и папе, а навстречу в самую ее душу летел, несся какой-то многоугольный ужас от того, что родители вместе. Она бежала по дорожке, и ей хотелось исчезнуть, пропасть, проснуться, чтобы не было родительского дня. Потому что Соня не понимала, как можно выбрать. Ведь она должна сейчас кого-то из них обнять первым! Но это невозможно, невозможно, потому что тогда другой поймет, что выбран не он! А родители приближались – нарядные, смеющиеся, и ужас рос, и само слово «ужас» звучало внутри Сониной головы и билось там, выдавливая наружу глаза и уши. Соне стало так плохо, там, повыше, над бегущими ногами, – в животе, в голове, в горле, что она, наверно, упала бы в первый в своей жизни обморок, если бы не отец. Он вышел вперед на два шага – красивый, высокий – и протянул руки вперед. Как же она была счастлива! Она никого из них не обидела! Внутри Сониной головы прозвучало: «Спасибо, папочка!» Она выскользнула из рук отца и бросилась к маме, которую не видела очень давно.

Ей постоянно приходилось жертвовать чем-то, боясь обидеть таких нечастых в ее жизни родителей. Иногда от величины приносимой жертвы Соня снова чувствовала что-то хорошо ей знакомое, похожее на ненависть. Но она любила их. Она даже научилась думать это слово «люблю» и теперь с презрением поглядывала на бабушку, когда та в очередной раз сообщала кому-то, что у этого ребенка вместо мозгов вата.

Тот день в пионерском лагере Соня запомнила крепко-накрепко и впоследствии старалась избегать ситуаций, когда нужно между родителями выбирать. К сожалению, это удавалось не всегда.

...Редкий случай – отец взял дочь в гости к своему брату. В тот день в доме собрался почти весь клан. До Сони, как всегда, никому не было дела, но теперь она этому радовалась, сидела и смотрела во все глаза. Ей казалось, для нее совершенно невозможно сравняться с ними. Они были такими, такими...

Жена папиного брата, которой Соня, как и своей второй бабушке, говорила «вы», уделила ребенку время. Адель, крупная, цветущая, перебирая на полной груди тяжелые камни бус, поспрашивала, как Соня учится, с кем дружит, не балуется ли, а потом принесла белую дамскую сумку, свою собственную, сказав, что это – подарок. Соня испытала настоящий восторг, она даже не поверила в такое счастье. У нее будет сумочка!

Невероятно гордая, чувствуя себя взрослой с сумкой на сгибе локтя, девочка вернулась домой. Но мама пришла в бешенство. Как они посмели! Как они посмели один раз в жизни сделать подарок ребенку и всучить никому не нужную старую сумку!

– Ты должна ее вернуть, – сказала категорически мама и вытерла губы посудным полотенцем. На клетчатой ткани остались следы помады, Берта поморщилась и отбросила полотенце на стул.

Соне ужасно жалко сумочку! Она бы пришла, как большая, во двор, и все девчонки увидели бы! В ней можно было хранить что-то важное!

Соня попыталась отбить свое сокровище.

– Но когда я теперь их увижу, мам?

– Верни сумку. И не вздумай пользоваться! Они не смеют делать тебе такие подарки. Лучше пусть ничего не дарят, чем обноски свои! – бушевала мама, а Тина ей вторила.

«Все», – сказала себе Соня. Она понимала, что ослушаться не посмеет. Но может быть, теперь папа придет не скоро и с сумочкой все же можно поиграть?

Отец, как на грех, появился через две недели и сказал, что бабушка Тэра ждет их в гости. Соня взяла сумочку с собой. В коридоре бабушкиной квартиры она повесила свое сокровище на вешалку поглубже, и сумку никто не заметил. Ушла Соня домой с пустыми руками. А вечером ей позвонили.

– Сонечка, ты забыла у нас свою сумочку!

– Я не забыла, – выдавила девочка. – Я ее оставила.

Ей было стыдно, стыдно... И тогда, и после, когда пришлось объяснить родственникам свой поступок. И потом еще очень долго.

...Наконец Берта вернулась в Москву насовсем. Она уехала из Ленинграда, подав на развод, и долго рассказывала, как рвалась на части и не знала, что ей делать. Но в жизни Сони в связи с этим практически ничего не изменилось, потому что ее мама немедленно устроилась на работу с длительными командировками.

– Але, Галк! Ты как? – Берта на несколько дней оказывалась дома в промежутке между командировками и отводила душу – говорила по телефону. Телефон висел на стене в коридоре рядом с местами общего пользования, мимо постоянно сновали соседи.

– Ты знаешь, у моей Соньки совершенно нет груди и плоская еврейская задница! Соня в это время вытягивала из комнаты шею, как гусыня, чтобы посмотреть, не слышит ли кто этих слов, кроме самой Галки. – Но зато голос у нее модный. – Берта курила и улыбалась. – Громкий и противный.

Соня уходила в комнату и уныло крутилась перед зеркалом. Неужели она такая некрасивая? Ей уже около двенадцати лет, она начала задумываться о разном. Конечно, Соня слышала всякие рассказы во дворе, даже выучила наизусть несколько неприличных стишков. Вернее, они выучились сами. Но ей хотелось пошептать об этом с мамой. И вот она решила, что раз мама заговорила о ее груди, то можно задать вопрос. Вечером она спросила:

– Мам. А откуда берутся дети?

Мама долго молчала, а потом призналась, что ей пока стыдно говорить с Соней на эти темы. Но Соня и сама знала, откуда они берутся. Просто она хотела... Ну да ладно. И девочка решила, что она всегда будет отвечать на любые вопросы своих детей. На любые!

Это стало еще одним пунктом в длинном списке.

Она никогда не будет им врать. Она никогда не будет повторять за другими: все, что решит сделать, – решит сама. Она никогда не будет говорить своим подружкам, что у ее дочки плоская задница. В присутствии детей она ни с кем не будет общаться на другом языке. Она никогда не разведется с мужем, чтобы у них – Соня так именно и думала: «у них» – был папа. И она не станет обзывать их папу, и бабушку тоже никогда. И еще Соня будет с ними разговаривать. Все время и обо всем.

Берта перестала ездить в командировки, когда Соне исполнилось тринадцать. Папа появлялся все чаще, и бывшая жена встречала его нарядной и возбужденной. Перед приходом Оси она начесывала свои жесткие, осветленные перекистью волосы, красила губы яркой помадой и подолгу рассматривала себя в зеркале, складывая губы бантиком, как будто посылая самой себе воздушные поцелуи.

Соня понемногу научилась находиться с двумя родителями одновременно, и ей это нравилось. Особенно когда рядом нет Тины, которая так ехидно смотрела на дочь и ее бывшего мужа, что становилось неловко, как если бы мама и папа вдруг оказались голыми. И вдруг однажды вечером мама, сидя в кресле с «Бегущей по волнам», отложила книгу и без всякого

перехода спросила Соню, как она отнесется к тому, если они с папенькой снова сойдутся. Она всегда говорила о нем «твой папенька», и Соня не удивлялась. Но зачем мама задала этот вопрос? Как бы счастлива Соня была, если бы родители однажды ей сказали, что больше не расстанутся! Она бы привыкла и перестала бояться обидеть кого-нибудь из них, отдав хоть на миг предпочтение другому! Соня испытала так хорошо знакомый ужас и думала сначала только одно это слово: «Ужас!» – но взяла себя в руки и пропустила в голову другие слова.

«Я так долго ждала, а ее все не было. Теперь она приехала, я вижу, как она старается, чтобы мы подружились. И если я скажу, что хочу, что больше всего на свете хочу, чтобы мои родители были вместе, мама наверняка подумает, что мне ее одной мало», – сказала себе Соня.

– Мне очень хорошо с тобой, – ответила она. – Разве нам еще кто-нибудь нужен?

Больше папа так часто не приходил. А перед смертью мама сказала Соне, что не сошлась с отцом и осталась одна из-за нее.

Боль, которую испытала Соня, услышав эти слова, была запредельной. Но она оправдала свою мать. Сначала без слов, а потом и со словами, Соня искала оправдание всему, что ранило ее и оставляло невидимые глазам шрамы где-то глубоко-глубоко, глубже даже, чем бродят мысли.

Время шло, мама становилась все ближе. Она делилась с дочерью разными историями, рассказывала ей о своем прошлом. Но мамино настоящее, ее женское, было по-прежнему скрыто, Соня это чувствовала, поэтому абсолютного доверия к маминым рассказам у нее не было.

Берта относилась к самой себе довольно строго, фразы «я должна», «я обязана», «я имею право» звучали в ее речи постоянно, и в них всегда слышался вызов. Она была иронична к окружающим, но проявлялось это по-разному. Общаясь с женщинами, Берта подчеркивала их недостатки, а мужчинам несла заряд энергии, заводила, бодрила и колко подшучивала. Соня неодобрительно водила носом, принохиваясь к разнице. Но ей нравилось слушать мамины истории, сидя рядом на широком старом диване, куда они обе любили залезать с ногами. Все, о чем мама рассказывала, дочь делила на «согласна» и «не согласна», но маме об этом не говорила.

В четырнадцать лет Соня начала интересоваться мальчиками. Полноватая и неуклюжая, танцевать она не умела, заигрывать и кокетничать тоже. Простояв несколько вечеров «на танцах» у стены, решила, что больше сюда не придет. Отношения с девочками у нее не складывались, и если вдруг Соню приглашали в компанию, она вскоре уходила сама, наполненная всевозможными впечатлениями. Она скрывалась от посторонних глаз, молчала, смотрела в небо или на деревья и пропускала через себя что-то, чему у нее пока названия не было.

Несмотря на свою обособленность или благодаря ей, именно в четырнадцать лет Соня познакомилась с мальчиком, в которого были влюблены многие девчонки из ее класса. В тот год он только переехал в их район, пришел в Сонину школу первый раз, и за ним началась настоящая охота. К тому времени Соня уже поняла, что стадное чувство охоте мешает, и предпочла осторожное одиночество, чтобы ни одна возможная соперница не перешла ей дорогу.

Его звали Саша Гуртов, он был аккуратен, подтянут и хорошо учился. Соня часто видела, как он играл с малышами около своего дома, как дети кричали при его появлении «Сашка-папашка!», неслись гурьбой и повисали на его руках и спине, а он бережно снимал их, заботливо ставил на землю и улыбался. Соня ходила кругами вокруг симпатичного парня, подстраивая разные ситуации, в которые он вовлекался. Все ее расчеты оказались успешными, вскоре Саша заговорил с ней и предложил пойти погулять. Она, конечно, согласилась и поздравила себя с удачной добычей, особенно заметив реакцию одноклассниц, которые бурно обсуждали такой нелепый выбор своего кумира.

(бет) 2

Пока тело спит, душа простирается и для нее открыто неизмеримо большие возможности, чем в бодрствовании.

Ты так мал, Путник, что почти неразличим взглядом. Но ты освещаешь пещеру.

Вместе с собой ты принес сюда свою память, и теперь здесь может исполниться все, о чем ты грезил.

Пещера таинственна и совершенна, неисчислимыми сокровищами владеет ее душа. Она отдаст тебе их, ведь ты одарил ее светом, которым дышит дух человеческий.

Ты только уснул, но скоро к тебе придут сны о том, что в оставленном мире ты любил больше всего. Сейчас это твой дом, он принадлежит тебе, вы принадлежите друг другу.

Ты передохнешь, а затем твой мозг начнет понемногу откликаться на песню ручья, и пещера получит знак, что время откровений настало. А пока, прикасаясь к твоей памяти, она извлекает оттуда все, что когда-то тебе хотелось постичь.

Так было во все века. Для каждого путника находила свои дары его пещера.

Сейчас дыхание пещеры глубокое, медленное, и ты, Путник, дышащий в такт, ныне с ней единое целое. Твои губы и веки сомкнуты так крепко, что могут показаться сросшимися. Твое тело еще не набрало тепла, ты свернулся, обнимая себя. Никто не в силах прочесть твою судьбу, кроме нее, принявшей и заключившей тебя колыбели.

Она – лоно горы, а гора, вырастая из недр, тянется к небу, не нарушая Закона.

Это не борьба с Богом, а исполнение замысла – быть горой Земли.

В любом гарнизоне

В любом гарнизоне Гуртовых-старших всегда окружали добропорядочные супружеские пары. Петр не позволил бы жене «задружиться с одиночкой» или «разведенкой», поэтому у Марии в подругах ходили только жены друзей самого Петра. Да и сыновьям предпочтительнее было общаться с детьми друзей. Это Петр так говорил – «предпочтительнее».

Жизнь военных городков во многом напоминала коммунальную квартиру, все существовали на виду у всех, и подобрать круг общения по интересам было просто. Конечно, здесь, как везде, кипели страсти и плелись интриги, но это обходило Гуртовых стороной. «Бытие определяет!» – шурился Петр, поднимал палец вверх, и членам семьи мысль подискутировать на эту тему в голову не приходила. Впрочем, не только об этом, но и о чем-то другом Гуртовы долго не беседовали. Вопросы решались линейно: «Дело общественно полезное? Чести и совести не противоречит? Значит, выполняй без лишних слов!»

Гуртовы считали свою жизнь насыщенной и яркой. «Служба, дела семьи, разве это не одно и то же?» – оправляя китель, однажды спросил у жены Петр и больше не спрашивал. Ответы тут были никому не нужны, повторные вопросы тоже. Все Гуртовы «материал» усваивали раз и навсегда. «Служишь Родине – знаешь, зачем живешь!» – провозглашал глава семьи в нечастых застольях, где больше трех тостов не произносилось, и веселье искусственно не нагнеталось. Не было в этом никакой необходимости, жизнь и так представлялась полной чашей, и подходить к ней надо было ответственно, чтобы не расплескать. Кроме того, рядом всегда присутствовали дети, которым родители – пример.

Сам Петр как будто родился в мундире, он был строг, молчалив и отдыхал лишь тогда, когда спал. Ему бы в голову не пришло предаться праздности хоть ненадолго. Родом из многодетной деревенской семьи, он с ранних лет привык к труду от рассвета до заката. Потом учеба, война, продолжение службы. Некогда и незачем было менять привычки, благодаря которым Петр выживал. Он помнил, как его собственный отец возвращался в хату темными украинскими вечерами, садился за большой деревянный стол, выкладывал поверх руки – обветренные, крепкие. Как суетилась, подавая еду, мать, маленькая, сухая, всегда покрытая платком. Отец Петра не вставал с места, чтобы взять что-то с другого края стола. «Мать! Сіль!» – говорил он скрипуче, и мать бежала, семеня с другого конца хаты, пододвигала. Петр был уверен, мать крепко любит отца. Он об этом не думал, просто знал, как многое другое. Как то, например, что к утру рассветает.

Мария – жена Петра – рано осталась сиротой, ни детства своего, ни родных не вспоминала, никогда на эту тему не разговаривала и, казалось, вовсе в этом не нуждалась. Невысокая, покатая и очень легкая, как будто она все время ходила на цыпочках, Мария тяжело пережила войну и супружество восприняла как заслуженную награду. Петр и дети были ее счастьем, ее миром, ее вселенной, а слово мужа важнее даже партийного устава. Она работала медсестрой на полставки и каждую свободную минуту отдавала семье. Сыновья ее были опрятны, дом чист, а медицинский халат накрахмален до хруста.

Как воспитывать детей, Гуртовы, казалось, знали всегда. «В идеологии нет разночтений!» – говорил Петр. От сыновей требовалась честность, ответственность и послушание: «Сено-солому не разводите. Я сказал – все поняли!» – Петр уходил на службу, мальчики смотрели ему вслед с гордостью, а жена, слегка одергивая цельнокроеное платье с отложным воротничком, улыбалась так, как улыбается женщина, хранящая тайну мужчины. Всем казалось, они живут в совершенном мире, их семья идеальна, настоящее прекрасно, будущее светло.

Дети не доставляли родителям особых хлопот. Сергей – миролюбивый, выносливый – за первые пятнадцать лет жизни «отличился» всего пару раз. Первый, когда чуть не утонул в выгребной яме, куда пятилетним провалился, – поскользнулся в мороз на скользкой дере-

вяшке. И второй, когда в девять лет молчком укатил на случайном грузовике в область – исследовать мир. Все остальное время он занимался, много читал, помогал по дому, и родители были спокойны, оставляя на него младшего сына Сашу.

До тех пор пока не учился в школе и не читал книг, Саша повсюду ходил за Сергеем и обижался, если старший брат вдруг сбегал со своими сверстниками «по взрослым делам». Саша оставался с матерью, и она, видя огорченное личико младшенького, утешала его, угощала ватрушками с творогом и карамельками, припасенными к особому случаю. Сережа возвращался, получал нагоняй и обзывал брата ябедой. Слово «ябеда» звучало обидно, Саша снова огорчился, тогда мать, не останавливая домашних дел, звывала к отцу. Петр конфликтов не терпел. В его руках появлялся ремень, и, как если бы это была волшебная палочка, в семье немедленно воцарялся мир. Обычно после угрозы ремнем Петр чувствовал потребность в поощрении сыновей, тогда он мастерил с ними что-то, и дети не отходили от отца, ловили каждый его взгляд и каждое слово, а мать потихоньку напевала себе под нос, штопая вечно дырявые носки. «Ну, м`эртвы пчелы не гуд`уть!» – едва заметно улыбаясь, завершал вечер Петр, и это означало, что всем пора спать. «А колы гуд`уть, то тыхэнько-тыхэнько...» – грудным голосом ворковала ему на ухо Мария, и дети знали: вот это и есть счастье.

В школе братьям приходилось много заниматься. Семью часто «перебрасывали» из гарнизона в гарнизон, приходилось наверстывать упущенное. Саша быстро привыкал к новому коллективу, легко сходилась с одноклассниками, но близких друзей не заводил. Приветливый и бесконфликтный, он никого не задира, никого не боялся и ни за кем не следовал. Он всегда был готов помочь с уроками и вообще помочь, даже если дело касалось обычной рогатки, которая по непонятной причине отказывалась стрелять. Если же неподалеку любители подраться устраивали свалку, Саша просто уходил. Он не любил даже играть в войну, а уж драться всерьез тем более. Существовали занятия куда увлекательнее.

Например, вместо рогатки можно сделать лук и стрелы. Когда Саша впервые появился со своей поделкой перед одноклассниками, он произвел настоящий фурор. Лук и стрелы захотели иметь все! Вместе с компанией Саша отправился к старой березе рядом с домом и полез наверх сам, потихоньку притащив из сарая стремянку. С высокой березы когда-то срезали нижние ветки, и теперь пришлось подниматься довольно высоко. Остальные дети сидели внизу и уважительно следили за процессом. Саша внимательно рассматривал ветви, проверял их на гибкость, подходящие срезал перочинным ножом и сбрасывал вниз. Затем он спустился, снова достал нож и нарезал пазы, в которые должна вматываться тетива. Даже парочка «заклятых врагов» из класса уселась рядом друг с другом, когда он натягивал тетиву на следующие три лука. Но дальше этого дело не пошло. Оказалось, что обычной веревкой тут не обойтись, ребята действительно рассмотрели, что четыре готовых лука снабжены весьма необычной тетивой. Больше такого материала у Саши не нашлось, и поначалу он отказывался рассказать друзьям, где достал странную бечевку. Наконец признался, что это вовсе не бечевка, а мамины парадные чулки, разрезанные вдоль. «Уже нельзя, – объяснил Саша, – будут руки резать. А других таких же, чтобы не тянулись и не рвались, – нет». Ребята озадачились, но вскоре приняли решение «поскрести по сусекам». И разошлись по домам. Им не повезло. Мамы оказались бдительными, и через час к дому Гуртовых подошла делегация, которая потребовала «немедленной выдачи зачинщика». Мария сына не выдала, но, спасенный, он выиграл немного – по традиции семьи был наказан: сидел дома и решал задачи, галочками помеченные отцом. Лук изъяли, срезанными ветками березы отец многозначительно поводит перед носом сына, а за взятую без спроса лестницу объявил ему «наряд вне очереди» – поставил вместе с Сергеем пилить дрова. Сергей на всякий случай не возражал, понимая, что и с него могут спросить. Ведь он сидел дома и не видел, чем занимается младший! А Саша пилил дрова и переживал за мать. Он видел, как она плакала, ведь других парадных чулок у нее не было. Кроме того, отец, заметив слезы, повысил голос и сказал, что эти добытые по случаю «заморские» чулки совершенно

матери не нужны и пусть она лучше следит за сыном, чем копить наряды. «Поскромнее нужно быть», – подвел итог Петр, и Саша пожалел маму. Он не давал себе никаких обещаний, но с тех пор на домашнее имущество не посягал.

В лидеры он тоже больше не выдвигался. Эту охоту ему окончательно отбил одноклассник Ваня, от которого постоянно пахло паленым из-за пристрастия к изготовлению «бомб». Испытывать такую бомбу Ваня однажды пригласил весь класс. Саше было интересно, что внутри «бомбы», но Ваня особо не распространялся, сказал только, что в гильзе, из которой она сделана, марганцовка, бертолетова соль и кое-что еще. Гильза была заткнута ватой. Ее подбрасывали высоко, она падала, но не взрывалась. Тогда Ваня решил вынуть вату, чтобы посмотреть, что происходит. Грохнул взрыв. Саша, стоящий рядом, на время словно ослеп и оглох. Звук исчез полностью, а перед глазами вспыхивали яркие пятна. Потом сквозь исполохи проявилось лицо Вани. Он сжимал левую руку правой, тряс ею, лицо его кривилось, а рот открывался и закрывался, но звука Саша не слышал. Немного придя в себя, все вместе они подхватили главного испытателя, притащили домой, впихнули в квартиру и разбежались. Саша оказался дома за пару минут, умылся и залез под одеяло, откуда его вскоре извлекла мама. Врач, к которому она немедленно отвела сына, сообщил, что мальчика контузило. Ему прописали уколы, и мама делала их с неумолимой последовательностью. Саша не роптал, но в глубине души пришел к выводу, что все это мероприятие – бредовое, и больше он ни в чем подобном принимать участие не будет. Он укрепился в своем решении, когда на следующий день зачинщик Ваня вошел в класс. Рука его была перебинтована, брови и ресницы полностью сожжены, а подпаленные волосы осыпались, стоило провести по ним рукой. Ваня смотрелся победно, а Саша подумал, что ходить и пахнуть паленой курицей можно, конечно, если есть ради чего. Но просто так – бессмысленно, окончательно решил он.

Для того чтобы младший сын «не слонялся без присмотра», родители «провели работу» с Сережей. Теперь каждый день составлялся план на завтра, в котором точно обозначалось, чем станут заниматься братья, когда вернутся из школы и приготовят уроки. Это мог быть ремонт того, что сломалось в доме, поход в магазин, глажка белья – что угодно. Сергею исполнилось восемнадцать, Саше тринадцать, и оба они уже умели столярничать, слесарить и работать с электричеством.

Братья были очень похожи. Мускулистые и крепкие, среднего роста, кареглазые и улыбчивые, с ямочками на щеках. Сергей чуть крупнее и шире, более раскован и слегка резковат. Саша мягче и спокойнее, но в силе и выносливости не уступал.

Самым большим огорчением для Саши было, если расстраивалась мама. Он совершенно не выносил слез и готов был сделать что угодно, лишь бы ее утешить. Вдвоем с братом они быстро находили способы, чтобы слезы сменились улыбкой, а затем вкусными пирогами – домовитая Мария и огорчалась, и утешалась легко.

Мальчики подрастали, свободного времени у них оставалось все меньше. Сергей увлекся самбо, и Саша тоже пошел в секцию. Но братья долго борьбой не занимались. Несмотря на природную спортивность, они были удивительно миролюбивы, поэтому, не сговариваясь, предпочли играть в футбол.

Вскоре забрезжила Москва. Полковник Гуртов привык к жизни в гарнизонах и не стремился осесть в столице. Он хотел отказаться, посчитав этот выбор нескромным, но жена настояла, и смущенный глава семьи дал согласие. Переезд приближался. Еще до войны Петр окончил педагогическое училище и теперь по вечерам занимался с младшим сыном математикой, готовил его к переходу в московскую школу. Сергей в следующем году собирался поступать в институт. «Раз Москва, значит, Бауманский, а потом военная академия», – определили родители, и свободного времени у братьев совсем не осталось.

Гуртовых поселили в коммуналке в Лефортове, а через четыре года дали новую квартиру. Им предлагали трехкомнатную на окраине или двухкомнатную на Калининском проспекте –

на выбор. На семейном совете решили поселиться поближе к работе отца. Теперь счастливые Гуртовы-старшие любовались видом столицы с немислимо высокого для 1968 года двадцатого этажа нового дома и наполнялись гордостью за свою страну, а заодно за себя, потому что служили великой державе.

Сергей учился в Бауманском институте. Каждый день он возвращался с занятий таким приподнятым и счастливым, что Саша решил поступать туда тоже. «А еще мы делаем ракеты, перекрыли Енисей, и даже в области балета мы впереди планеты всей!» – пели хором братья любимую песню институтских капустников, и уверенность Саши в правильности выбора росла. Но семья еще не пришла к окончательному решению, где продолжит учебу более мягкий по характеру младший сын. Петр склонялся к военному училищу, Мария вторила мужу, а сын не спорил: «Какая разница, с чего начинать, если профессия – защищать мир?»

До поступления в институт оставался год. В который раз поменяв школу, Саша по-прежнему ни с кем из одноклассников не сблизился, конфликтов сторонился, а своими впечатлениями и мыслями делился со старшим братом – своим единственным другом. Они были откровенны и близки, а когда случались разногласия, обращались к отцу. Петр оставался для сыновей главным арбитром. Слушал молча, вопросы задавал коротко, отвечал односложно. Поняв, что единство мнений достигнуто, произносил нараспев: «Вот то-о!», медленно, плотно ставил на стол кулак, и это служило сигналом окончания разговора. Все должны были вернуться к своим делам, что и происходило немедленно.

Впервые Саша обратил внимание на Соню в конце сентября. Она стояла в затемненном углу школьного коридора перед приоткрытой дверью класса, откуда пучком пробивался свет. Солнце в этот день шпарило, и в полумраке старой школы свет казался особенно ярким, а девочка в его лучах выглядела так, как будто прожектор осветил неизвестный объект. У «объекта» были светлые распущенные волосы, а распахнутые глаза непонятного цвета смотрели на Сашу так, что он заподозрил в своей одежде непорядок, – и смутился. Девочка резко развернулась, шагнула навстречу свету и закрыла за собой дверь. Коридор померк.

С тех пор она постоянно возникала – то там, то тут. Иногда встречалась на перемене, смотрела пару минут в упор, поворачивалась и уходила. Иногда появлялась в Сашином классе во время урока, и каждый раз по важной причине. Или педагога приглашали к директору, или находился неизвестно куда пропавший журнал, или нужно было передать кому-то срочную записку. Как в их первую встречу, ему казалось, все темнело вокруг всякий раз, когда за ней закрывалась дверь. Ни в каких подвохах бесхитростный Саша эту девочку не подозревал, но наталкивался на нее повсюду, а смотрела она так откровенно, что волей-неволей он стал о ней вспоминать.

Однажды, дежуря после уроков, он снова заметил ее в коридоре школы и впервые улыбнулся в ответ на вызывающий взгляд. После этого девушку как подменили. Возникла она по-прежнему часто, появлялась отовсюду, но больше на него не смотрела, как будто перестала замечать. Оказалось, это неприятно, Саша огорчился и искал объяснения, доказывая себе, что ничем не обидел девочку, имени которой все еще не знал.

Ему не с кем было поговорить, чтобы узнать о ней хоть что-нибудь. На одной из перемен, посмотрев школьное расписание, он сам прошелся по этажу, где занимался ее класс. К нему тут же подбежали сразу три ее одноклассницы, окружили, стали хихикать и задавать вопросы, которых он от смущения не слышал, но что-то отвечал, и, наверное, поэтому девочки не расходились. Они смеялись, то одна, то другая брали его за руки и говорили не смолкая. Вдруг из кабинета физики вышла она. Увидев Сашу в окружении одноклассниц, расширила глаза, минуту не сводила с него взгляда, повернулась и исчезла за дверью. Он чуть не дернулся следом, но она уже вышла, забросила синюю сумку через плечо, посмотрелав их сторону, но не на него, вздернула подбородок, сказала: «Я домой» – и свернула на лестницу.

– Во дает! Отпросилась! Что хочет, то и делает! – прокомментировала одна из трех. Посмотрела на Сашу и добавила: – Это Сонька Берг. Она у нас новенькая. Черт-те что о себе думает!

Саша тоже был в этой школе новеньким. Он извинился, высвободился из кольца, которым девочки его окружили, побежал вниз. Но Сони уже след простыл, и настроение Саши упало.

Он не видел ее несколько дней, беспокоился, не заболела ли. За этими раздумьями его и застал в один из вечеров брат. Сергей был влюблен и собирался жениться.

– Ну-ка давай рассказывай, что произошло! – Сережа, даже если говорил серьезно, все равно улыбался. – Что с тобой происходит? Ты не влюбился?

Он задал вопрос наугад. Но, прочитав ответ на лице брата, сразу посерьезнел:

– Расскажешь? Откуда она? Саша ответил – из школы, и он, кроме имени, ничего не знает.

– Ну так подойди и познакомься! Вот чудак! – снова засмеялся Сергей.

Зазвонил телефон.

– Саша, – заглянула в комнату мама. – Тебя. Девушка!

Мария снова работала медсестрой на полставки. К каждой смене она готовила свежий халат и головной убор, и сейчас стояла, надев на руку накрахмаленную медицинскую шапочку. Невысокая, округлая, с волосами, уложенными надо лбом красивой волной по моде ее молодости, она качала головой, улыбалась, но в глазах подрагивал вопрос. Прежде девушки младшему сыну не звонили.

Саша рванулся к трубке, но это была другая. Одна из тех, что окружили его в коридоре сегодня. Ради вежливости он ответил на пару вопросов, извинился и вернулся в комнату с таким огорчением на лице, что Сергей, улыбнувшийся было, стал серьезен.

– Не та. А зачем номер давал, если даже поговорить не хочешь?

– Да не давал я никому никакого номера, – буркнул Саша и засел за уроки.

На следующий день он встретил ее у дома. Она шла мимо, высоко подняв голову, не глядя по сторонам, правой рукой прижимая к боку большую коробку, обвязанную веревкой. Саша так и не понял, заметила она его или нет. Остался стоять рядом с подъездом, смотрел вслед и видел, как она вошла в широкие двери следующей высотки. Он еще топтался какое-то время, надеясь дождаться ее возвращения, но чем дольше стоял, тем сильнее портилось настроение. Расстроенный, побрел домой, поужинал и лег спать.

Через несколько дней она снова прошла мимо, когда он играл с соседскими детьми в мяч. Проследив, увидел, как она юркнула в огромный гастроном по другую сторону проспекта. Но сколько ни вглядывался потом, так и не смог заметить, вышла ли оттуда, и если да, то куда потом делась.

Это продолжалось и продолжалось. Соня возникала повсюду, каждый раз явно «по делу», и на Сашу внимания не обращала. Прошло несколько месяцев, а он так и не смог решиться и окликнуть девушку, о которой теперь думал постоянно. Иногда рассказывал брату о ней, теряясь в догадках, куда и зачем она носит свои коробки и пакеты. Наконец добродушный Сергей не выдержал и пригрозил, что если брат не решится, то он познакомится с этой девушкой сам. Саша рассмеялся. Его женатый брат познакомится с девушкой, даже с такой замечательной, как Соня? Невозможно, мужчины Гуртовы, сделав выбор однажды, другими женщинами больше не интересовались.

Через пару дней она возникла снова. На этот раз шла налегке, с маленькой сумочкой через плечо. Посмотрела на него, и он наконец решился, сделал шаг навстречу. Загородил дорогу.

– Кажется, Соня? – спросил, улыбаясь и скрывая смущение.

– Кажется, Саша? – Глаза смеялись, она не пыталась его обойти!

– И далеко вы направляетесь, Соня? – Сердце стучало.

– Пока в магазин! – И снова не ушла.

– А что вы скажете, если я пройду с вами в магазин?

– Я скажу так. – И она многозначительно помолчала, ровно столько, чтобы он почувствовал неуверенность. Но хорошее настроение вернулось вместе с ее улыбкой. – Пройдитесь со мной, Саша! Вы даже можете мне помочь кое-что донести!

...Однажды во время переезда в другой гарнизон Гуртовы, сидя в вагоне, дожидались отправления поезда. Маленький Саша смотрел в окно и мечтал, что вот сейчас состав тронется и мать расстелет салфетку, выложит на нее курицу, печеную картошку, яйца, соленые огурцы и, наконец, начнется дорога, ведь это всегда так здорово! Внезапно Саше показалось, что они уже поехали, но это тронулся поезд на соседней платформе, как объяснил отец. Саша даже не сразу в это поверил, голова слегка закружилась, а после осталось странное чувство. Как будто закачалась земля. И вот теперь, когда Соня согласилась, а это означало, что они вдвоем, он и она, пойдут куда-то, Саше вновь показалось, что тронулся поезд, но какой – неизвестно.

Назавтра он проводил ее из школы и с тех пор провожал каждый день. Еще через пару недель их случайно встретила ее мама, Берта Петровна, и пригласила в гости. Глядя на Соню и ее маму, Саша не нашел в них ничего общего и был удивлен. В его семье похожи не только дети на родителей, но даже отец и мать как брат и сестра.

С тех пор Саша постоянно появлялся в доме у своей подружки и скоро узнал, что там частенько бывают мальчишки-одноклассники, они и в школе повсюду следовали за ней. И хотя Соня ими явно пренебрегала, Саше такое положение не понравилось, и при первом же удобном случае он намекнул каждому, что все у них с Соней серьезно, и остальным надеяться не на что.

Он позвал ее к себе, но не домой, а на балкон двадцатого этажа, чтобы посмотреть сверху на город. В этом доме жили только сотрудники Министерства обороны, просто так пройти туда было невозможно. Соня с радостью согласилась, и они больше часа топтались на ветру, разглядывали отдаленные дома и пытались угадать по крышам, какое здание на какой улице стоит. Их встретили вернувшиеся с работы родители, и Саша представил им Соню. Мария и Петр вели себя вежливо, но вечером, когда сын вернулся, мать вскользь произнесла несколько слов о размалеванных девицах в коротких юбках. Сергей тут же вмешался, сказав, что не стоит обращать внимание на внешность, а Саша набычился, но смолчал. Рядом с Соней он чувствовал себя так, как будто у него поднимается температура, когда слегка познабливает и спину ломит. В первый раз он действительно подумал, что заболел, но подружка ушла, и нормальное состояние вернулось. Позже Саша понял, что так случается, если она стоит или сидит слишком близко. В этот вечер, ложась спать, он представил себе, как говорит ей тихо: «Мертвы пчелы не гуд'уть»... И как она ему отвечает. Саша даже закашлялся в постели, тут же пришла мама, проверила его лоб. И неприятных слов про размалеванных девиц как будто не было сказано.

Окончился учебный год. Соня перешла в десятый – последний – класс и уехала с бабушкой на дачу. Прощаясь, Саша попросил посоветовать, куда ему лучше поступать: в военное училище или в институт.

– В институт! – твердо ответила она.

– Но я все равно потом стану военным. Офицером!

– Ну и станешь. Но сначала получи высшее образование, – пожала плечами и заговорила на другую тему.

Чуть не поссорившись с родителями, Саша подал документы в Бауманский институт и ездил к Соне не меньше двух раз в неделю, возвращаясь поздно вечером. Даже в июле, когда экзамены уже начались, все равно умудрялся приезжать в Ильинское, где Соня проводила время праздну, целыми днями гуляя в лесу и вокруг дач.

Экзамены Саша успешно сдал, его родители, которые в течение двух месяцев постоянно выговаривали сыну за долгие отлучки, успокоились и увезли его в деревню на Украину – на родину отца. Оттуда он писал Соне письма почти каждый день. Едва вернувшись в Москву,

тут же отправился к ней и застал в привычном окружении. Она казалась отстраненной, и Саша почувствовал себя обманутым. Ведь он получал от нее письма – интересные и искренние!

Дома он выглядел таким расстроенным, что Сергей, который недавно женился, буквально прижал брата к стенке:

– Ну что ты опять повесил нос? Что не в порядке?

– Знаешь, – Саша помолчал. – Мне кажется, я ей не нужен.

– Ты ей не нужен! Обращай внимание на женщин! – Глаза Сергея смеялись. – Ты думаешь, за моей Иркочкой никто не ухлестывал? Ты мне скажи, тебе, лично тебе она нужна?

Саша ответил взглядом.

– Тогда вперед. И запомни. Если женщину нельзя уболтать, ее можно высидеть. Не слушай ее совсем. Не уходи, даже если будет гнать. Молчи и будь рядом. Если, конечно, ты любишь. Понял?

Он любил. И он понял.

– Вот то-о! – на отцовский манер завершил разговор Сергей.

(гимель) λ

Природа, открытая для бесконечного познания, призвана сохранять живущее и творить добро.

Стены пещеры пронизаны тончайшими капиллярами, и по ним струится невидимый ток, чтобы напитать собой русло источника.

Течение ручья слегка изменилось, оно стало более спокойным и почти незаметным в извилах размытого русла.

От горы к пещере, от пещеры к ручью. Это множество и единство, это вечное таинство жизни.

Задача пещеры слишком важна, чтобы помнить о собственной значимости. Она тратит так много сил, чтобы сберечь спасенного, что сама становится уязвимой.

Но, познавшая величие своей цели, пещера согласна с горой. Она умалчивается и шепчет об этом ручью.

И вот его падающие струи рассыпаются до взвеси тумана и окутывают Путника. Это живая вода пещеры, вобравшая в себя все знания горы, пронизывает спасенного, не нарушая видимого забвения.

На стенах пещеры блики и тени.

Они, как и все вокруг, подчинены единому закону, но кажутся независимыми в своем танце.

Пещера священнодействует, знания доносятся бережно, так чтобы не поработить Путника и чтобы он, проснувшись, не впал в надменность от их обилия.

Ибо, как говорят мудрецы, гордость, происходящая от наук, хуже невежества.

*Знания сердца не надмевают.
Пещера творит свою тайну.*

Поиграть колодой карт

Поиграть колодой карт – вот что любила Берта. Соня усаживалась рядом, запоминала значение комбинаций и потом гадала сама. Она раскладывала карты, но смотрела сквозь них, щурясь, пока изображения не сливались. И тогда вместо картинок нарисованных проступали совершенно другие, объемные, похожие на те, что Соне привиделись в детстве перед смертью соседки и с тех пор не забывались. Сначала от этого Соня немного робела, но потом поняла: ничего опасного нет, и уже спокойно разглядывала свои видения. После нескольких таких гаданий маминым подругам в доме возник настоящий ажиотаж, и Соню повели к психиатру. И вот ее снова чем-то поили, снова она ходила вялая и заторможенная. Теперь она гадала только в одиночестве, радуясь тому, что картинки, которые проступают сквозь карты и будто плавают в разведенном молоке, не блекнут от пилюль. Теперь Соня могла рассматривать сквозь расклад все, о чем думала, а чуть позже поняла: чтобы «увидеть сюжет», карты необязательны.

Однажды Берта пришла с работы встревоженной. Ее приятельница, с которой она вместе работала и боролась за первенство во всем, похоже, могла ее обойти.

– Представляешь, говорят, что Альку повысят! – возбужденно говорила мама. – Но у меня две печатные работы на эту тему! Повысить должны меня, это несправедливо!

Мама ужасно нервничала, и Соне стало ее жалко. Она смотрела перед собой в одну точку, щурясь почти до слез, и внезапно увидела в разбавленном молоке Альку, плавающую на фоне здания маминой работы. Алька стала уменьшаться, уменьшаться и, наконец, совсем исчезла.

– Не беспокойся, мам, ее не повысят. Она вообще уйдет с работы, – по-своему поняла увиденное Соня, что позже подтвердилось.

– Почему ты так решила? – Берта была настроена миролюбиво.

Но Соня испугалась. Подумала, что, если ответит, снова окажется у врача.

– Да потому, что она дура набитая, хоть ты ее и любишь, – нашла выход дочь, и мама ничего не заметила.

– Ну почему, не такая уж и дура, – возразила приветливо Берта.

Перед шестнадцатилетием Соне пришлось сделать еще один выбор, судьбоносный. И опять этот выбор оказался в пользу мамы. Соня знала, совершается что-то невыразимо неправильное, что нанесет боль отцу. Она страдала, но отказать матери не могла.

– Ты должна поменять фамилию при получении паспорта, Соня, – наставляла мама, дважды не бравшая фамилии своих мужей. – Ни к чему тебе еврейская фамилия, тем более с папенькой мы жили вместе всего ничего. Ты блондинка, на лице у тебя не написано, и зачем тебе портить жизнь.

Что-то за этим скрывалось еще, Соня чувствовала. Что-то, чего она не могла объяснить. Но как можно решить по-другому – не знала. Ведь она жила с мамой, мама теперь была с ней каждый день, а у отца появилась новая подружка. Так говорила бабушка.

Осип на перемену фамилии согласия не давал, но Берта подала в суд. И Соня Берг стала Соней Балашовой.

– Вот теперь справедливо! – восторжествовала Берта, когда все завершилось.

В шестнадцать лет Соня заинтересовалась своим одноклассником-спортсменом. Это было мимолетное увлечение. Зато возникли первые стихи – очень слабые, всего лишь строчки в столбик. Но строчки стремились укладываться в законченные мысли, и Соня теперь старалась облечь в слова все, что ее наполняло. Сама по себе такая возможность казалась удивительной и очень увлекала.

Не отдавая себе отчета в том, что анализирует причины и следствия, Соня с удивлением обнаружила, что мало кто из девчонок искренне радуется успеху других. Она была потрясена и даже поделилась этим с мамой. «Утверждение: друг познается в беде – неверное. Друг позна-

ется в радости, – сказала мама. – Когда случается неприятность, посочувствовать набегают многие, а вот стоит победить, так у половины подруг улыбки вкривь и вкось. Да и вообще, сразу становится видно: чья-то радость для них совсем не праздник».

В десятом классе Соня решила, что никто даже догадываться не должен, о чем она думает, так безопасней. Девочки способны поднять на смех все на свете, а мальчики в принципе не должны иметь доступа к ее мыслям. На себя и всех остальных она смотрела как будто со стороны, откуда-то из зрительного зала, где наблюдала, дожидаясь, что будет с «ней», если «они»...

У одноклассницы Норы, живущей в пяти минутах ходьбы от Кремля, дома постоянно толпился народ. Мальчишки, девчонки собирались большими и маленькими компаниями. Иногда к ним присоединялась Соня.

Соня считала, что Нора не умеет дружить. С ней невозможно было договориться о встрече, она либо не приходила, либо опаздывала так, что становилось уже все равно. С ней нельзя было ничем поделиться – рассказанное немедленно обсуждалось вслух. Но Соня приходила все равно, потому что Нора говорила о неизвестном. В этой изящной маленькой девочке с огромной копной каштановых волос было нечто, что резко отличало ее от других, но Соня еще не знала названия этому свойству.

Соседка Норы, красавица блондинка Лика, вызывала в Соне восторг и легкую зависть. Лика так легко общалась, держалась с достоинством, и все, за что ни бралась, делала изящно и непринужденно. Соне казалось, ей самой никогда так не смочь, она наблюдала и помалкивала, но однажды не удержалась и высказалась:

– Везет тебе, Лика, у тебя такая грудь красивая! Лика с Норой переглянулись и засмеялись.

– Не расстраивайся! Зато у тебя задница что надо!

– Задница! – Соня ответила скептически, даже скривилась. – Она у меня плоская. И потом – на что она нужна? За нее не трогают.

– Вот дурочка! – покровительственно заметила Лика. – Никакая не плоская. А трогают за все!

– За все?!

Соня была потрясена. В этот миг она даже не среагировала на «дурочку». Но вечером услышала, как Нора рассказывает ребятам эту историю. «Представляете, Сонька считает, что в постели за задницу не трогают!!!» И как все радостно гогочут. Ночью, размышляя о том, откуда они все знают и почему она всегда оказывается дурой, Соня строго-настрого запретила себе любые высказывания и приняла решение как можно больше читать. Она не хотела, чтобы над ней смеялись.

С детства Соня привыкла к тому, что родители постоянно ее оставляли, выбирая другую семью, работу, светские развлечения. Соня была высокого мнения о своих родителях, а вот Тину считала откровенно глупой и беспринципной. Поскольку умные родители отсутствовали, а Тина в любой ситуации могла подвести, Соня себя в безопасности не ощущала. Никто из близких не был ей верен. В любую минуту все, кого она так любила, могли принести боль. Чего же ей оставалось ждать от остального мира?

И вот у нее возникло и прочно укоренилось чувство, что, если приоткроешься, – над тобой посмеются. Доверишься – и все сказанное будет перевернуто, передано по цепочкам во все стороны, чтобы потом к тебе же вернуться и прижать тебя к стенке. Расслабишься – и возникнет ситуация, к которой не готов, а вслед за ней проигрыш и утрата независимости.

Независимость для Сони стала равна закрытости. Никто не посмеется над ней, если не узнает, где болит. Никто ее не оставит, если она ничья. Она наблюдала за людьми, но не делилась с ними своими мыслями. Женщины и девочки – ненадежны, Соне хорошо известно, как они говорят друг о друге «за кадром». Бабушка, мама, а также девчонки, которые Соню все-

рьез не рассматривали и поэтому не остерегались, были тому примером. Мужчины и мальчики казались менее враждебными, но они – внушала мама – захватчики. Это означало, что общаться можно с кем угодно, а принадлежать – никому. Никто не должен был взять над ней верх.

Впервые в жизни в десятом классе Соня не пришла домой ночевать. Вечером она уехала на встречу со своим одноклассником – тем самым спортсменом, о котором писала стихи. Она позволила увезти себя за город на темную зимнюю дачку, откуда он провожать ее отказался. Ничего страшного не произошло. Спортсмен, опытный ловелас, но не пачкун, видел, что Соня не кривляется, и не хотел ее обижать. Они мирно заснули рядом, нацеловавшись всласть. Но Соня чувствовала себя преступницей, ведь еще тогда, когда он предложил посидеть в электричке, поняла, что уедет куда-то, откуда выбраться трудно, но все-таки пошла за ним. Что ее толкнуло на такой шаг, Соня не анализировала. В пять часов утра проснулась, вылезла через окно и ушла на станцию одна.

Когда она открыла дверь в комнату, мама сидела в кресле и курила, а в ногах у нее валялись спутанные нитки распушенного свитера. Берта связала его недавно и очень им гордилась. Она не бросилась к дочери, не обняла ее со слезами облегчения, не обрадовалась, что ее девочка жива и что с ней ничего плохого не случилось. Ведь именно так Соня представляла себе их встречу. Потом, конечно, мама должна ее отругать и даже наказать, но сначала... И Соня попросила бы прощения за бессонную ночь, пообещала бы что-нибудь, постаралась загладить вину. Но мама смотрела холодными, колючими глазами, и Соня, войдя в дом, произнесла только одну фразу: «Я не могла приехать».

Берта нервно курила и молча наблюдала за Сониными перемещениями по комнате. Чем дольше длилось молчание, тем невозможнее становилось для Сони его нарушить. Наконец мама заговорила:

- У тебя с ним было?
- Нет.
- Говори правду.
- Ничего не было.

Соне показалось, что вокруг театр. Зрительный зал будто отодвинулся от сцены, и герои стали почти неразличимы. Она почувствовала себя маленькой вещицей, спрятанной далеко, как кощева смерть, за многими дверями. Под колючим, ощупывающим взглядом матери эти двери захлопывались, захлопывались, а Соня отделилась и удалялась от своей оставленной оболочки и уже себя с ней не отождествляла.

- Собирайся и иди к гинекологу. Принеси мне справку, что ты девушка.

В этот миг маленькая вещица – Соня, покинувшая самоё себя, сквозь множество дверей, которые преодолело ее сознание, поняла, что не хочет к себе возвращаться. Ее выносило туда, где лучше умереть. Оболочка, оставаясь в комнате, почувствовала холод внутри. Соня верила и не верила, что жуткие слова прозвучали на самом деле. Ей хотелось сказать себе: «Это неправда, мама не могла!..» Но холодные глаза мамы крохотную надежду опровергали.

Когда полумертвая Соня, для которой страшнее гинеколога был разве что ведьмин костер, снова одетая, чтобы идти к врачу, – и ведь пошла бы! – потянула за ручку двери, Берта сказала:

- Поклянись, что ничего не было.
- Клянусь.
- Раздевайся. Мне совершенно не надо, чтобы ты принесла в подоле. И запомни. Если я когда-нибудь узнаю, что моя дочь вышла замуж не девушкой, значит, я жизнь прожила зря.

Эти слова остались в памяти навсегда. Долгие годы, прежде чем для уже взрослой женщины – Сони стало возможным оправдать свою мать, фраза, прозвучавшая в тот час, отшвыривала ее за множество дверей от самой себя, разделяя и замораживая.

А в этот день она по привычке писала о случившемся в дневнике. Не о маме и ее словах, а о нем, виновнике, который ей стал еще более интересен, и о том, как было им хорошо, и как они ничего такого не сделали, потому что он к ней относится по-серьезному.

На следующий день Соня застала маму за чтением своего дневника и поняла, что принесенной клятвы мало, личный дневник может быть прочитан, а значит, и ему доверять нельзя тоже.

С этого момента она презирала весь мир и решила поскорее расстаться с девственностью, что и осуществила при первой возможности. Однако потом не пустилась во все тяжкие, продолжала спокойно жить дальше, запомнив навсегда слова, которые никогда не скажет своей дочери.

Но вот время ускорило и полетело.

Соня оканчивала школу, когда ее родители, не сговариваясь, задали вопрос, кем она хочет быть. Соня ответила сразу, без паузы, что хочет быть или учителем, или врачом. Папа-врач сказал: «В медицинский ты не поступишь, это невозможно», а мама-инженер: «Не ходи в педагогический. Учителя – это каста. И в школе ты обязательно останешься старой девой». Соня трусливо и послушно не пошла ни в педагогический, ни в медицинский. Вместо этого она поступила на вечернее отделение неинтересного института и начала работать в неинтересном месте.

Люди, наоборот, привлекали ее все больше, но были не слишком понятны. О себе самой она знала еще меньше, но это пока не осознавалось. В глубине души Соня считала, что нравиться кому-либо по-настоящему не может. В ее голову накрепко вбили, что мужчинам нужно от женщин только одно, поэтому она по-прежнему бесцеремонно «отшивала» каждого, кто, по ее мнению, «посягал», едва он появлялся на горизонте.

Друзья-мальчишки, те, что все время крутились у них дома, пока росли, были рядом неизменно. Мама называла их охламонами, хотя они изо всех сил старались ей понравиться. Тот же, которого Соня отвоевала у девчонок-одноклассниц, ее законная добыча, периодически дерзил Берте, когда та при всех Соню цепляла, но маме это, как ни странно, нравилось. Она говорила, что только Саша по-настоящему силен, раз не боится заступиться за Соню даже перед ней, и что он один Соню любит.

Они были похожи – мама и Саша. Кареглазые и курносые, круглолицые, крепкие и рельефные, они смотрелись как мать и сын. Соня же, в отличие от них, была длинноносой, узколицей, с прямыми светлыми волосами и еще не оформившейся фигурой. «Там, где у других выпуклости, у нее выем», – словами Маяковского подшучивала над ней мать.

Однажды, когда Соня с Сашей пришли к Берте на работу, все сослуживцы решили, что это ее сын с девушкой. Потом, смеясь, Берта не раз говорила про шуточки судьбы, и что за такого парня хорошо бы выйти замуж. «Он так давно рядом, он постоянен, он из хорошей, обеспеченной семьи, из полной, заметьте, семьи...» Видимо, мама низко оценивала собственную независимость, думала Соня, слушала и запоминала.

Мама значила для нее все больше, но только в некоторых вопросах жизни. Дочь делила их беседы на стоящие, подходящие для нее, и на дикие, которые откладывала в отдельную стопочку памяти, намереваясь потом когда-нибудь обязательно разобраться, почему такое возможно.

– Умерла, а родни-то у нее нет никакой, все равно соседи все растащат. Пойду возьму хоть чайные ложки, – говорила Тина, а Берта нервно шарила в карманах халата в поисках папирос, Тину не останавливала, и чайные ложки из комнаты умершей соседки перекочевывали к ним.

«Только не забыть! – наставляла себя Соня. – Запомнить на всю жизнь: никогда не брать то, что умерший тебе не завещал». Выводы свои она делала на основании ощущений.

– Да, меня-то легко подсадить в грузовик, а вот если бы тут была Лёнькина жена... – веселилась крепенькая, но очень изящная, фигуристая Берта в компании своих вернувшихся из похода друзей и бывшего ее одноклассника, верного друга Лёни.

– Если бы вы его жену подсадить решили, то у нее вот такие ляжки! – как рыболов, разводила она в стороны руками.

«Никогда. Никогда не говорить плохо о женах своих друзей, – твердила Соня себе. – Никогда не произносить мерзкого слова „ляжки“. Никогда и никого не унижать».

– Ненавижу Кожновского! Опять мне дорогу перешел! Моя идея, а он присвоил. Значит, что же? Я зря работала? – сокрушалась Берта.

«Работать не ради славы, – делала выводы Соня. – Но обязательно добраться когда-нибудь до этого Кожновского».

– Мам, а чем он такой противный, твой Кожновский?

– Никакой он не «мой»! Мы вместе изобрели водонапорную башню. Но он везде называет ее «водонапорная башня Кожновского»! А обо мне ни слова!

«Непонятно. Но надо обязательно потом с этим разобраться».

– Ты знаешь, дочь. А я ведь не смогу дать тебе совета, когда ты выйдешь замуж и станешь женой. Ведь я не сумела сохранить семью. Разве я имею право тебя учить тому, чего не научилась делать сама?

«Учить только тому, что сам умеешь делать».

– Мам? Спасибо тебе! Я точно знаю, так не каждая мама скажет!

– Але, Ритуль! Сонька-то у меня умная растет!

На двадцатом году жизни Соня знала, что думать для нее – самооценный процесс. Интуиция тоже служила верой и правдой, – например, она помогала определить, когда врут. Соня замечала любую фальшь и немедленно концентрировалась, едва начинали звучать рассуждения о взаимоотношениях людей. Она писала стихи, дружила с мальчишками, а девчонки около нее надолго не задерживались. Она так и не научилась сплетничать, не интересовалась украшениями. Все, что важно для подруг, казалось ей похожим на разговоры Тины, которые она слышала в детстве. Но детство свое Соня помнить больше не желала. Тем более что оно внезапно кончилось.

Какой чудесный запах плыл по дому от растворимого кофе из жестяных баночек рыжего цвета! Это любимый мамин напиток. Берта частенько болела и вызывала участкового врача Карину, очень красивую женщину, с которой они вместе подолгу пили кофе, курили и болтали. Когда Берта в очередной раз прихварывала, Карина выписывала ей больничный и потом забегала на перекур каждый день.

Карина делилась со своей пациенткой любовными историями, рассказывая о них достаточно громко и откровенно смеясь. Соня сравнивала их разговоры с тем, что по вечерам мама передавала Тине. Поистине в этом мире не стоило кому-нибудь доверять!

В ту осень Берта вернулась с юга и вскоре почувствовала себя непривычно плохо. Карина положила ее в больницу, но, пролежав там месяц, Берта не поправилась.

Из больницы она вышла тревожной и растерянной. По вечерам Соня сидела рядом с мамой в уголке ее дивана и слушала рассказы о жизни, не погружаясь особенно в их смысл. Соня видела, что мама не может уснуть, и очень хотела ей помочь. Тогда она прищуривалась, смотрела, как будто перед ней карты, и одновременно сквозь реальную картину представляла лодочку, где лежала и слегка покачивалась мама. Нужно было ясно увидеть, как лодочка неслышно плывет в разбавленном молоке. Соня всматривалась в эту субстанцию, в очертания лодочки, к ней отчетливо подступал запах молока и свежей воды, так что по спине пробегали мурашки, а мама успокаивалась, говорила медленнее и незаметно для себя засыпала. Соня уходила в другую комнату, закрывала дверь, вытаскивала «беломорину» из маминой пачки и прикуривала. Это была гадость, гадость! Папироса летела в форточку. Но оставался привкус,

который не проходил даже после чистки зубов. Этот привкус угнетал, тревожил, он как будто возвращал мысли Сони к чему-то, о чем она думать не хотела.

Они пригласили платного врача.

– Вашей маме нужны положительные эмоции, – сказала врач, принимая конверт.

– Просто у меня было мало радости в жизни, мне нужно больше радоваться! – повторяла позже мама, которая эти слова слышала. Радоваться... Но чем Соня могла порадовать свою маму? Что вообще она могла?

Через пару недель срочным звонком Карина вызвала Соню в туберкулезный диспансер: «Мы с мамой здесь. Приезжай немедленно!»

В коридоре диспансера сидела Берта, бледная и отрешенная. Соня кинулась к ней целоваться.

– Не подходи ко мне, Сонька, у меня туберкулез! Тебя сейчас тоже будут проверять. Если и ты больна, лучше бы я умерла!

В кабинете флюорографии Карина шепнула Соне слово «формальность» и побежала утешать Берту, что с дочерью все в порядке. Соня вышла в коридор, хотела сесть к маме поближе, но та смотрела безучастно и сделала знак отойти. Потом две медсестры куда-то Берту увели, уверив, что это ненадолго, а Карина вызвала Соню на лестницу. Там она прижала ее к стене плотно, и девушка ощутила чужой запах.

– Соня. Мама ничего не должна знать. Мы положим ее в туберкулезную больницу, пусть считает, что ее лечат.

– Почему « пусть считает»? А ее будут лечить?

– Соня. Ты взрослая, ты должна понять. У мамы не туберкулез. Это метастазы.

К Новому году Берту выписали из больницы на три дня. Ее познабливало, и гостей они не приглашали. Но накануне Соня, которая все продумала до мелочей, завела беседу о том, что вдвоем скучновато и хорошо бы позвать Сашу. Тина ничего не знала о диагнозе дочери и уехала на неделю к дальним родственникам. Берта против Саши не возражала. После этого Соня пустилась в пространные рассуждения о том, что теперь скучно будет Сашиним родителям и что хорошо бы пригласить и их. «Ведь мы с Сашкой друзья и всегда будем друзьями, я бываю у него дома. Почему бы родителям не познакомиться?» – уговаривала Соня. Мама согласилась, Сашины родители тоже.

В новогоднюю ночь дети объявили, что решили пожениться.

Стоявший в этот момент Петр сел, Мария схватилась за сердце и вяло произнесла, что никого, кроме Сони, не представляла, а Берта ахнула и выбежала из комнаты. Соня понеслась за ней. Мама плакала.

– Ты это из-за меня, Сонька? Не надо!

– Ну что ты, мам, мы любим друг друга! Мы хотели сделать тебе сюрприз!

Через два дня, снова ложась в больницу, Берта спросила:

– Скажи мне, Сонь, ты девушка? Это чудесные люди, Сашины родители, но я точно знаю людей такого типа, им очень важна эта капля крови. Скажи правду! Потому что, если нет, я тебя научу.

Но как можно сказать правду! Ведь тогда получится, что мама жизнь прожила зря? На какой-то миг Соня дрогнула. Но сделала усилие. Сдержалась.

– Ну что ты, мам, у меня все в порядке. Не волнуйся, – спокойно ответила она, сознательно соврав впервые в жизни.

Через два дня молодые подали заявку.

Через две недели Берта умерла.

За три дня до этого Соня со своей будущей свекровью приехала навестить маму в больнице. Она считала – маме спокойнее знать, что ее ребенок под присмотром, и всю ластилась к Сашиной матери, обнимала ее. Вечером Берта пожаловалась Алевтине: «Сонька так к ней жалась, так сияла, я больше ей не нужна!»

Только спустя годы, когда хватило мужества вспомнить, о чем не смолчала Тина, Соня дала себе очередную клятву – думать над всем, что она произносит, чтобы попусту не причинять боли людям. Эта клятва была практически невыполнима, потому что «предугадать, чем наше слово отзовется», для обычного человека – редкая удача.

За два дня до смерти Берту выписали. Родители Саши договорились со своими друзьями временно поместить ее в другую больницу. В машине-перевозке мать и дочь остались ненадолго одни, и Берта сказала: «Это, наверно, за все мои страдания Бог посылает мне сейчас такую радость. Какие люди рядом с тобой!»

В новой больнице пациентку поместили в маленький бокс, где лежала раздетая женщина, тело которой сплошь покрывали сиреневые и черные подтеки. У нее рак четвертой степени, было видно, что больная мучается страшно. Она курила и стонала протяжно, как будто подвывало привидение. Вечером Соня ушла с тяжелым сердцем.

От стонов новой соседки Берта не спала всю ночь и, когда дочь приехала назавтра, взмолилась:

– Забери меня отсюда, Сонька! Пожалуйста! Я здесь умру! Если нельзя домой, я готова по-пластунски ползти обратно в инфекцию!

Соня представила себе, что ей предстоит. И холодным рассудком поняла, что все сможет. И принести, и вынести, и обработать. Она научится делать уколы, потренируется на себе. А главное – Соня даст маме то, в чем она так нуждалась, – лодочку, в которой ее бы обласкивал спасительный сон.

– Я завтра утром приеду с вещами и тебя заберу домой. Ты потерпишь?

– Правда? Мы сможем? Ведь у меня туберкулез! А он лечится! И мы еще с тобой посидим с ногами на нашем диване?

– Сможем. И конечно посидим... Мам? А хочешь, мы отложим свадьбу, пока ты не поправишься полностью?

Мама приподняла голову, карие глаза заблестели как раньше, когда она требовала.

– Обещай мне. Обещай мне, Сонька, что ты ни под каким видом не перенесешь эту свадьбу. Что бы ни случилось! Ты меня поняла? Что бы ни случилось!

– Поняла, – жестко сказала Соня, и это было правдой. Ей стало ясно, что о своем диагнозе мама знает.

Потом она еще сидела рядом, топталась, дурачась, в дверях, шутила с мамой и заставляла себя улыбаться сиренево-черной женщине на соседней постели. Берта отправляла Соню, та не уходила. Наконец Берта устала и сказала с легким раздражением:

– Все. Иди уже. Как ты мне надоела!

На следующее утро, когда Соня появилась в больнице с тюком вещей, чтобы забрать маму, ее встретила Мария Егоровна: она организовывала перевоз Берты домой и с машиной «скорой помощи» приехала раньше. Соня поднималась по лестнице, будущая свекровь вышла навстречу, остановила, взяла за локоть...

– Мама умерла, – произнесла она и навсегда осталась человеком, принесшим эту весть.

Лестница, коридор, бокс с одной кроватью, мама. Ее глаза как будто смотрели, а по лицу разливалась такая настоящая, такая живая боль, что невозможно поверить – не прозвучит даже стон, мама больше не отзовется. Соня коснулась ее еще теплой руки и несколько раз позвала:

– Мам... Мам... Мам?!

Постояла. И вышла из палаты.

Она не закрыла маме глаза. Не осталась рядом. Прошла мимо сиренево-черной женщины, вывезенной на кровати в коридор. Женщина взглянула с ненавистью и отвернулась. Коридор, который вчера был прямым, казалось, расширился и сужался, как тело матрешки. Соня могла думать. Она подумала, что больная несчастная женщина ненавидит маму за то, что она уже умерла. А Соню ненавидит за то, что молода и жива.

Потом она ехала в «скорой», в той самой машине, на которой должна была отвезти маму домой. Ее отправили за паспортом Берты, и Соня держала на коленях тюк вещей, с которым приехала в больницу. Она все время повторяла одни и те же слова: «Мама умерла».

Молодая соседка Алеся выплыла из туалета, везя тряпку по полу, когда Соня вошла в квартиру.

– Умерла, – сказала Соня, но голоса не услышала.

– Привезла? – догадалась Алеся.

– Умерла. – Соня сделала усилие, чтобы ее голос прозвучал.

Алеся охнула и распрямилась, тряпка медленно опустилась на пол, а Соня снова шла по коридору и не хотела заходить в комнату, потому что не знала, где паспорт, и не помнила, как оказалась дома. Потом она выдвигала ящики, рылась на полках и повторяла себе вслух: «Никогда. Никогда не говори тем, кого любишь, что они тебе надоели. Потому что ты можешь завтра умереть. И уже не успеешь...»

Назавтра Соня сидела с маминой записной книжкой, набирала номера телефонов и говорила, каждый раз слушая свои слова и постигая их смысл: «Умерла. Она умерла. Мама умерла».

Соне предстояло пережить и понять еще что-то чрезвычайно важное, прежде чем она осознала, что на этот раз мама «уехала» от нее навсегда. Прежде чем крепко-накрепко закрыла двери, за которыми хранились воспоминания и клятвы ее детства.

Она обзванивала знакомых, когда полуживая Тина вдруг подошла близко, почти вплотную, и сказала бесцветно:

– Не приглашай отца, Сонечка. Мама сказала перед смертью: «Передай Соньке, пусть она отомстит за меня папеньке».

Соне тоже хотелось кому-нибудь отомстить.

Нужно было сходить на мамину работу за материальной помощью. Она пришла и стояла в подвальчике НИИ рядом с лабораторией, где раньше бывала часто, ждала. С конвертом в руках появился Кожновский.

– Вот, возьми, пожалуйста, Соня. Если нужна какая-то помощь, ты скажи. Мы все очень, очень любили маму, мы тебя не оставим, – ласково заговорил он, седой высокий человек, положивший руку на Сонино плечо.

Она смотрела на него, решалась, решалась... До этого времени все свои негодования она сдерживала, но тут отважилась, отступила на шаг, вдохнула поглубже, прищурилась и по складам произнесла:

– Я вас не-на-ви-жу!

А он вдруг замотал головой, заплакал и протянул к ней обе руки:

– Ненавидишь? Ну что ты, что ты... Бедная моя девочка... Ну ничего, ничего... Это потом пройдет...

Он еще что-то приговаривал, а она стояла, ошеломленная откровением, которое накрыло ее, как лилипута огромная шляпа. Она это видела, чувствовала, ему действительно больно, он не врал!

«Ненавидеть глупо! – Соня не знала, она думает сама или эти слова слышит. – И мстить глупо!»

За что мама ненавидела Кожновского? Он же не виноват! Соня кожей ощущала и знала точно – старик сейчас говорил правду!

Никто не виноват.

Никто не умеет думать ни о ком, кроме себя.

Никто никого не видит.

Бедный Кожновский. Бедная мама. Бедная Тина...

Соня никогда, никогда, никогда не будет мстить папеньке. Она научится всех понимать. И жалеть. Она больше никогда никому не будет мстить.

На похоронах Соня смотрела в лицо умершей, и ей казалось, что мама улыбается. Тогда она тоже улыбалась в ответ. Будущая свекровь напоминала Соне, что нужно вести себя прилично. Отец плакал.

(далеко) Т

Люди часто не понимают друг друга, и это тоже замысел Бога.

Ты, конечно, помнишь о Вавилоне, Путник.

Бог разделил человеческий язык на множество языков, в наказание за бесцеремонность людей Он послал им в общении нищету, чтобы ее преодолеть.

Ты знаешь, Путник, люди очень старались, люди – трудолюбивое племя, но башня строилась в иную сторону от цели, потому что в материи Бог непостижим.

Люди получили обратный результат. Творец вмешался в дерзкий процесс, и смертные перестали понимать друг друга. Но замысел Бога всегда превышает размеры знакомых человеку определений.

Вспомни апостолов Христа. По сошествии Святого Духа многие из них заговорили новыми языками, но люди убивали их, и знание языков не смогло помочь ученикам объяснить себя.

Немного избранных родилось на Земле, чтобы от рождения служить Создателю, не сделав попытки насытить душу благами мира.

Эти молитвенники всех вер существуют в веках для того, чтобы люди могли, совершая ошибки и набирая опыт, расти. И человечество взродеет неторопливо.

Они так же редки, как гении искусств и наук, но именно они – несущие колонны Замысла. Обычные же смертные – строители Вавилонской башни – путают понятия и, насыщая тело, верят, что насыщают душу. Люди разных устоев братьями себя не считают, закрываясь этим от прозрений. Ибо дверь, ведущая к прозрению, в стене единства.

Всмотрись, и ты увидишь то же неприятие друг друга, ту же неспособность понять каждого каждым, ту же нищету.

Довелось ли тебе наблюдать за сообществами, объединенными единой верой? Там страсти еще более сгущены, потому что ограничены методы сражений.

Даже те, кто положил время и силы, чтобы постичь, как мыслит человек, страдают и не могут обрести победу в этой страстной борьбе всех со всеми.

Одни подвешены в постоянных сомнениях.

Другие оставили неуверенность за спиной. Поверив однажды в свое превосходство, они отдалились от Бога.

Им повезет, если смерть не придет к ним внезапно. Возможно, тогда при жизни они успеют понять, что двигались не к источнику, а от него.

Мудрецы всех вер расскажут тебе, что тем, кто смог хоть однажды услышать ответ на свою молитву, будет проще вернуться к истокам.

Помнишь, Путник, как раскрывается любая судьба?

Она начинает свое шествие с бунта, нарушая покой окружающего мира.

Подобно куриному самцу, который разбивает тишину на рассвете, мятежный юнец оповещает округу о том, что настало утро его жизни. Отбросив опыт поколений, он призывает всех перевести часы и подладиться под его календарь.

Ему нет дела до того, кто еще спит, или болен, или, измученный старческой бессонницей, недавно уснул. А может быть, этот «кто-то» тоже только проснулся, но хотел провозгласить утро первым.

И мир не рад тому, кто возомнил себя солистом.

Тогда отвергнутый глашатай перешагивает порог юности без смирения. Он противопоставляет свое утро времени мира.

Никогда бы не подумала *Рассказ Берты*

Никогда бы не подумала, что в тот момент, когда умираешь, можно размышлять на тему: есть Бог или Его нет. Тем более что эта тема в принципе не казалась мне интересной. Мы с самого начала знали, что Его нет, не было и быть не может.

Есть коммунистическое самосознание, советская мораль, высокий профессионализм, борьба за качество и победа в соцсоревновании. И хотя я при жизни членом партии так и не стала, виной тому не мои убеждения, а только стечения обстоятельств. Одно из них то, что я долго была не замужем, а этот факт при вступлении в ряды КПСС не приветствовался.

Если бы я все еще могла произносить слова, то сказала бы, что умирание – процесс довольно необычный. Человек выпадает из времени. Во всяком случае, так произошло со мной. Сначала снова возникла эта невозможная боль. Она погружала в колющую темноту и не давала возможности мыслить. Наверно, именно поэтому моя жизнь промелькнуть передо мной не успела. Я слышала или где-то читала, что перед смертью человек вспоминает все. Я не вспомнила. Все, что во мне могло думать и вспоминать, чувствовало себя в те минуты как сведенная судорогой нога.

Тот факт, что я умираю, то есть что это произойдет очень скоро, я осознала по-настоящему лишь несколько дней назад – слишком резко ухудшилось состояние. Перенервничала я тогда страшно. Во-первых, душила обида. Почему такое случилось именно со мной? Почему все остальные, кого я знала, с кем дружила, общалась, работала, живы, а я должна умереть? Как это перенесет мама? Что будет с дочкой?

Затем наступил страх. Страх, наверно, смерть приблизил. Поверить в то, что мой организм до такой степени разрушен и наши советские врачи бессильны, казалось почти невозможным. А вот страх был похож как раз на то, что может уничтожить любого. Казалось, мое тело угодило под основание неведомой постройки, – она сооружалась на глазах и тяжелела, неудержимо это тело распластывая. Выбраться из-под такой конструкции невозможно, остановить воздвижение не в моей власти. «Отсиженному» мозгу оставалось только ждать, когда страх его окончательно раздавит.

А потом все кончилось. Как будто лопнул до предела надутый воздушный шар. И я оказалась вне страха, вне событий прошлого и вне самой себя.

Сначала не поняла, потом не поверила. Я чувствовала себя немного утомленной и не сразу догадалась, что нахожусь отдельно от своего тела, нелепо лежащего на кровати. А когда осознала, что я по-прежнему есть, продолжаю существовать и мыслю так же энергично, как раньше, что я такая же во всем, только больше к телу отношения не имею, мне стало легко. Так легко, как прежде никогда не случалось.

Если представить себе довольно мягкое солнце, на лучи которого не больно смотреть, или светящийся цветок с множеством продолговатых лепестков, то легко понять, какой возникла передо мной моя прошедшая жизнь. Каждый луч или лепесток – живая картина, отдельный эпизод, а под ним блок похожих сюжетов, и все они вращаются вокруг светила или завязи цветка, подобно карусели. Можно сосредоточиться на любом отрезке прошлого. А можно только любоваться и не приближать к себе ни одного луча. И то и другое – славное занятие. Особенно приятно и удивительно то, что, какой бы фрагмент прошлого ты ни рассматривал, нет стыда.

Пожалуй, стыд – основное чувство, которое сопровождало меня всю жизнь как хвост. Было стыдно за себя, за маму, за мужчин, за свои нелепые шутки, за неуместную строгость, за то, что мой ребенок от меня далеко и мне не хочется этого изменить. Стыдно за то, что

не люблю своих мужей, и за то, что у меня такие полные ноги, а на животе складки. Я вообще не помню дня, когда бы мне не было стыдно.

Теперь наступило «хорошо». Оказалось, можно спокойно смотреть на собственные поступки и не только не осуждать, а, наоборот, сочувствовать себе, как близкому человеку. И еще я отметила, что в состоянии, в котором находилась, испытывать сильные эмоции вряд ли возможно. Как странно увидеть вдруг одинокую волну при чудесном штиле, когда спокойное небо и неподвижное море отражают друг друга.

Я приблизила к себе луч, в котором, как в гнезде, доверчиво расположилось мое первое «стыдно». Я совсем о нем забыла и очень удивилась, что ему отводится такое почетное место. Ни с него ли все началось?

Как если бы это происходило сейчас, я увидела худенькую девочку, которая залила чернилами мамино свидетельство о присвоении квалификации декоратора по оформлению витрин. На свидетельстве дата – 31 июля 1938 года. Все-таки, какие мы были смешные и славные! Девочка с толстой каштановой косой, в которую вплетен шелковый бант, совсем такая же, какой была когда-то я. Она одета в мешковатое клетчатое платьице с юбкой-абажуром, из-под абажура – чулочки, пристегнутые на длинные резинки. Девочка захотела взять чернильницу, чтобы заняться домашним заданием. Но ручка лежала на другом краю стола. Девочка встала коленками на стул, локтем руки, которая держала чернильницу, оперлась на стол и потянулась за ручкой. В эту минуту одна ее нога соскочила со стула, локоток дрогнул, из чернильницы плеснуло. Я увидела, как чернила растекаются по первым трем строчкам перечня аттестованных предметов: Конституция СССР, политграмота, задачи советской торговли. Мама только сегодня получила это свидетельство, с ним она собиралась устраиваться на работу в Елисеевский гастроном. А девочка его испортила!

Я увидела, как пришла мама и, узнав, что случилось, начала широко, из стороны в сторону таскать девочку за косу. Девочка поняла, что произошла неприятность. Но ведь не такая значительная! И уж совсем было непонятно, отчего мама плачет и приговаривает: «Клякса на политграмоте! Лучше бы ты залила чернилами практикум витрин!..»

Девочка стыдилась. Это прилежная и послушная девочка, и ей было очень стыдно, а кроме того, обидно за себя, ведь она не хотела причинять неприятности маме. В том далеком дне девочка думала, что она невезучая и неловкая – как обычно и как всегда.

Я разглядывала девочку с симпатией и пыталась увидеть в расположенных рядом лучах те самые «всегда», о которых она вспоминала. Но на первый взгляд их не нашлось. Хотя, возможно, они располагались в перпендикулярной плоскости, потому что за лучом-лепестком испорченного свидетельства проглядывали другие, похожие по цвету и форме лучи-сюжеты. Достаточно только захотеть, чтобы любой лепесток из этого ряда вышел на первый план и, свернутый в рулончик, раскрылся. Увидела разбитые чашки, порванные носочки, плавающий в луже портфель и другое, слегка подпорченное или практически уничтоженное невезучей девочкой имущество. Девочка стыдилась всякий раз, когда что-то ломала, стыд рос и становился привычным состоянием. Меня все еще продолжало удивлять, что когда-то этой девочкой была я.

Истории всех следующих друг за другом лучей тоже сквозили печалью, я перелистывала глазами те, что ярче и заметней, а карусель цветка продолжала медленно вращаться.

Пуанты. Девочка решила стать балериной. В подвале дома, в котором она жила, находился красный уголок, там занимались с детишками настоящие энтузиасты, мастера своего дела. Это ничего не стоило, занятия проводились бесплатно. Захотел, пришел – и учишься. Тут же размещалась библиотека. Пришел, назвал фамилию, и можешь брать какую угодно книгу. Рядом кружки художественной декламации, кройки и шитья, резьбы по дереву, фотокружок и танцкласс в зале с небольшой, но настоящей сценой. Девочка ходила в библиотеку и в танц-

класс, выступала на праздниках в школах и принимала участие в спектаклях, которые ставили работники красного уголка.

Однажды приехала серьезная комиссия, чтобы посмотреть, как обучаются дети, оценить их успехи и качество работы активистов. Эта комиссия отбирала «молодые дарования», которых, как известно, в Советской стране предостаточно. Девочка необыкновенно старалась, чтобы понравиться. Ее педагог, бывшая балерина, нервничала, у нее горели щеки, волновался и аккомпаниатор. Девочкин танец между тем комиссии показался интересным, и через несколько дней маленькая балерина в сопровождении своего педагога отправилась на просмотр в хореографическую школу при Большом театре.

Для того чтобы учиться в этой школе и стать настоящей балериной, у девочки, казалось, было все. Подходящий возраст, пластика, гибкость, ритмичность и трудолюбие. Тем не менее, ее безоговорочно забраковали. У бедняги развивающееся плоскостопие, с профессиональным танцем оно несовместимо. «Посмотрите, ведь это не ноги, – сказала член отборочной комиссии – сухопарая дама в круглых очках. – Они работать неспособны! Какое варварство, какая изысканная жестокость – привить любовь к полетам бескрылому существу!»

Я увидела, как комиссия отозвала педагога, с которым пришла девочка, и выговаривала бедной женщине за непрофессиональный подход к отбору детей. У педагога пылало лицо, девочка не слышала слов, но понимала, что учительнице стыдно. И ей тоже немедленно стало стыдно, что у нее такие чудовищные ноги, хотя никогда прежде не думала о своих ногах плохо, они ей исправно служили. Девочка сжалась, подумав, что «бескрылое существо» – она сама, но это чересчур обидно, чтобы анализировать. Быть одновременно бескрылой и безногой – слишком.

Я немного отодвинула от себя карусель из лучей-лепестков. Мне захотелось поразмыслить.

Вспомнила свою бабушку, которая верила в Бога, молилась и мечтала попасть в рай. Но едва только я представила бабушкино лицо, как светило-цветок снова возник перед глазами и повернулся тем краем, где располагалась бабушка и все, что с ней связано. Я не успела подумать о Боге и снова спросить себя, есть ли Он на свете. В моей жизни фрагментов, связанных с Богом, не было. Наверно, поэтому в цветке лепестков на эту тему тоже не нашлось. Мелькнула мысль, что при таком раскладе мне не сумею добраться до сути, и тут возникло лицо бабушки. Она была единственным человеком, который верил в Бога, из всех, кого я при жизни знала.

Я увидела ее молящейся перед темной иконой в сером окладе. Очень старая женщина, выпуклые вены у нее на руках, казалось, в любой момент могли прорвать хрупкую, прозрачную пленку в желтых пятнах, которая кожу заменяла. Бабушка крестилась медленно – широко по плечам и от вершины лба до пояса. Губ у нее тоже почти не осталось, когда она шептала, приходили в движение тонкие морщинистые щеки, то совсем западая, то свисая и подрагивая, как веки птицы. Неужели я так никогда и не спросила, с чего она решила, что Бог есть? Почему всю жизнь верила, что после смерти будет что-то другое и надо очень стараться, чтобы оно оказалось правильным?

Похоже, я так и не спросила, похоже, и не собиралась даже, потому что тогда ко мне повернулся бы луч событий на эту тему. Молящаяся бабушка исчезла, карусель снова вращалась, то приближая, то отдаляя картины моей жизни. Я чувствовала, что испытываю легкую досаду. Ведь я умерла, но не исчезла, а подумать об этом у меня возможности не было, хотя теперь спешить было некуда. Пожалуй, не так уж тут и прекрасно, как мне показалось сразу после смерти. Я оставалась собой, но свободы не ощущала. Или ее не было пока. Мне сделалось немного тревожно, но я забыла об этом от следующего «стыдно», которое нахлынуло неожиданно.

Немного подросшая девочка. Теперь ей уже около пятнадцати, но она так худа, что выглядит двенадцатилетней. Косы не осталось, короткие жесткие волосы прижаты платком. Девочка собирает граблями сено и таскает его во двор по размытой дождями дороге, в которой то и дело остаются ее галоши. Каждый раз, когда галоши соскакивают, девочка оступается, чуть не падает, но сено не роняет. Самой себе она кажется Козеттой из «Отверженных» Гюго, хотя и не припомнит, таскала ли сено Козетта когда-нибудь. Девочка очень старается, потому что здесь она одна и мамы рядом нет. В этой деревне из родни остались только старая бабушка и одноглазый дядя, в доме которого девочка сейчас живет. С бабушкой дядя совсем не считается. И хотя мама каждый раз привозит полные сумки еды и вещей, девочке все равно ничего не дадут, если она не принесет сена или хвороста столько, сколько велели.

Бабушка кроткая, молчит и не спорит, а дядя грубо шутит с мамой и принимает от нее сумки, когда та приезжает. Едва мама выходит на улицу, дядя уносит все, что она привезла, в чулан и запирает на замок. Он кривится и заявляет, что мама девочки, то есть его сестра, работает в Торгсине и там, в Москве, несмотря на войну, жирует. Могла бы привозить и побольше. Он говорит: «А девку свою сдала в деревню, так нам нахлебники не нужны!»

Неужели сейчас, когда война, мама все еще работает в системе Торгового синдиката или, иначе говоря, в магазине, занимающемся торговлей с иностранцами? Девочке снова стыдно, очень стыдно. За маму – у нее испачканы только ботинки на каучуковой подошве, потому что долго шла по дороге, а так она очень опрятно одета и от нее пахнет цветами. Видимо, это плохо – опрятность, ведь действительно война. Девочка решает обязательно расспросить маму, почему все так, и уходит на улицу следом.

Мама разговаривает с бабушкой, но глаза ее смотрят перед собой. Она здесь и не здесь, девочка никак не может задать свой вопрос – удобный момент так и не наступает, и тогда девочка спрашивает как попало: «Мам, ты работаешь в Торгсине?» И мама спокойно, не отводя глаз от дальнего леса, отвечает, что никакого Торгсина теперь уже и в помине нет, его еще в тридцать шестом году Сталин упразднил. Она говорит, что да, работала там очень давно, в начале тридцатых, а теперь война, и она работает на педикулезе, поэтому у нее всегда есть мыло.

Девочке снова становится очень стыдно. За дядю – он жмот и вун. За бабушку – она ничего ни с кем не может сделать, только все время молится, а лучше бы не тратила времени на ерунду. Девочке стыдно за себя, потому что поверила в напраслину, и у нее не хватает смелости сказать дяде, чтобы перестал врать. А еще девочке стыдно, что мама выводит насекомых каким-то людям там, в Москве, на своем педикулезе, а она, девочка, здесь в деревне завшивела, и ей напрочь отрезали волосы, которые только-только теперь отрастают и торчат ежиком.

Движение людей и их мыслей в лепестке остановилось – наверно, дальнейшее неважно. Неужели все мое посмертное существование – экскурсия по собственным «стыдно»? Тогда, пожалуй, это вполне смахивает на ад, подумала я с легкой иронией, но без грусти. Мне еще не слишком надоело рассматривать свое прошлое, стыда я теперь не чувствовала, и это делало «экскурсию» вполне терпимой. Конечно, наблюдать пожизненный стыд – занятие несколько однообразное, но пока я не спешила его прервать. Я всегда считала себя человеком рациональным и привыкла думать, что в природе существуют системы. Меня вполне устраивала теория дарвинизма и эволюции. Постепенно развивающееся нечто не требует большого напряжения мысли. Поэтому я могла предположить, что какая-то система существовала и во всем этом «просмотре», только мне она пока была неясна. Меня никто не торопил, выбора у меня не было тоже, и я снова притянула взглядом один из лучиков моего светила, который, приближаясь, расширился и превратился сначала в лепесток, потом в подобие овального экрана. Я увидела летний пейзаж – неширокую быструю речку, залитый солнцем берег и молодую девушку – себя.

Нет, все-таки девушка, которая улеглась позагорать на солнышке, очень от меня далека. Неправда, что от рождения до смерти человек проживает всего одну жизнь. У некоторых этих

жизней множество, и их главные герои совсем не похожи друг на друга. Было проще думать про девушку «она», чем «я», тем более что мне бы не хотелось вновь оказаться на ее месте.

Девушка уже давно лежит и смотрит вверх. Облака то и дело наползают на солнце, поддувает несильный ветерок, поэтому жара чуть скрыта, смягчена до сносной. Конец июня, один из первых по-настоящему жарких дней, почти месяц до этого было хмуро, шли дожди. Девушка в первый раз в этом году выбралась за город и, несмотря на смуглую кожу, вполне может обгореть. Решает искупаться и садится на траву.

На противоположном берегу двое. Женщина читает, мужчина накачивает заднее колесо велосипеда. Через несколько минут он садится на велосипед, спрашивает о чем-то свою спутницу и, получив кивок, целует ее и уезжает. Его подруга смотрит вслед, затем ложится навзничь в траву и становится невидна.

Больше никого поблизости нет, и девушка наконец готова ополоснуться. Выше по течению мосток и небольшая плотина. Она делает речку достаточно быстрой и глубокой, а воду в ней прохладной. Впрочем, в этом году река еще не прогрелась. Девушка заходит поглубже медленно, преодолевая озноб, и плывет против течения, чтобы потом, на обратном пути, когда разогреется, полежать на спине и отдохнуть.

Ногу сводит резко. Так резко, что девушка теряет, делает несколько неверных движений, глотает воду и захлебывается. Она очень сильно пугается, и дальше происходит что-то, чего она и представить себе не могла. Девушка тонет, причем так неудержимо, что едва успевает об этом подумать. Боль в сведенной ноге усиливается и поднимается к спине, девушка никак не может продышаться. Хочет закричать и, кажется, действительно кричит, но так ли это, точно не знает. Страх усиливается, и потом все кончается – девушка теряет сознание и уходит под воду.

Наблюдая за происходящим, я думала именно о потере сознания, не больше, ведь цветок со светящимися лепестками перед «утопленницей» еще не развернулся, хотя смерть была уже совсем рядом, и пространство дало ломаную трещину как раз над тем местом, где вода сомкнулась.

Я чувствовала особенный интерес, этот отрезок жизни раньше мне был неизвестен.

За две-три минуты до этого молодая женщина на противоположном берегу слышит непонятные звуки и садится в траве. Она повернута лицом в другую сторону, но там все безмятежно. Потягивается, напрягая тело, снова укладывается на свое одеяльце, но в это время с другой стороны к ней прилетает странный звук, как если бы кто-то громко вдохнул. Женщина вскакивает на ноги и видит, что метрах в тридцати вверх по течению тонет человек.

Молодая женщина – высокая, длинноногая и крупная – бежит быстро. Хорошо, что берег пологий и сухой, женщине кажется, что она достигает уровня тонущего почти сразу, но человек уже ушел под воду. Пробегает чуть выше, чтобы нырнуть по течению, прыгает в воду, плывет и ныряет. Она действительно хорошо умеет плавать, несмотря на отчаянную ситуацию, в ее движениях нет суеты. Я вижу, как она дважды уходит под воду надолго и как на третий раз появляется на поверхности не одна, а с девушкой, которая тяжело висит на ней, сползая обратно в воду.

Молодая женщина справляется. Едва встав на ноги, перебрасывает девушку через плечо и тяжело тащит на берег, где укладывает на траву. Опустившись на колени, начинает делать искусственное дыхание. Пожалуй, ее сноровка – единственное, что сейчас меня занимает. Мне хорошо известно, что утонувшая девушка будет спасена.

Ломаная трещина в пространстве меркнет. Девушка кашляет, но вот она уже перевернута на бок и, выплевывая воду, шумно дышит. Приходит в себя медленно, возвращается недоверчиво, ей все еще страшно, как в минуты гибели, и страх не проходит. Ее начинает бить озноб, и молодая женщина бегом приносит одеяло, на котором сама только что загорала. Некоторое время девушка не отвечает на вопросы своей спасительницы, только молча смотрит перед

собой. Похоже, у нее шок. А женщина спрашивает, откуда она, как ее имя, говорит, что сейчас вернется ее друг и они вместе проводят девушку домой.

Девушка этого не хочет. Как только к ней возвращается способность мыслить, она понимает, что ни в коем случае не хочет, чтобы ее провожали, а еще больше не хочет, чтобы в студенческом комсомольском лагере, куда она приехала на выходные, узнали о том, что случилось. Ведь там, в лагере, откуда она ушла позагорать, работает сейчас молодой человек, ее герой, который так сильно ей нравится. Именно ради него она и приехала в этот лагерь. Девушке ужасно стыдно из-за того, что с ней случилось, и она совершенно забывает про здравый смысл. Скорее всего, она не понимает, что почти погибла, что незнакомая женщина спасла ей жизнь, иначе ей наверняка захотелось бы отблагодарить спасительницу. Но ничего подобного не происходит. Девушка думает только о молодом человеке, который остался в лагере и сейчас, скорее всего, недоумевает, где она. Ведь она как раз рассчитывала на то, что он спохватится и пойдет ее искать. Но если так, он может появиться здесь в любой момент и увидеть ее в таком нелепом виде! Девушка встает, бормочет о недоразумении, просит никому не рассказывать о случившемся и все-таки повторяет несколько раз «спасибо». Это так нелепо, но девушка добавляет: «Не надо». Молодая женщина с недоумением и обидой отступает. Спотыкаясь, девушка убегает к мостику и скрывается на другой стороне реки.

Я снова зависла в растерянности, карусель продолжала вращаться, то отдаляясь, то слегка наплывая, ничто моему пребыванию вне времени не препятствовало. Только что увиденный сюжет, безусловно, очень важен, за его лучом просматривался объемный слой лепестков на ту же тему. Это не значило, что девушка погибала многократно, а кто-то многократно ее героически спасал. Плотным блоком располагались события, в которых девушка лишалась покоя, запретив себе вспоминать несчастливый день. Как ушла и оставила свою спасительницу на берегу, как не искала ее потом, чтобы отблагодарить, как твердо решила забыть обо всем поскорее, чтобы даже не пытаться понять, почему такое произошло.

Пожалуй, в следующем луче уже действительно я. Иду по улице и вижу немощного старика, он палкой пытается нашарить устойчивую доску, чтобы перейти через широкую канаву, заполненную грязью. Бросаюсь к нему, но старичок, наверно, психически болен и помочь себе не позволяет. Кричит на меня, даже замахивается палкой и отчаянно шагает прямо через грязь, забыв о доске. Смотрю вслед и чувствую себя скверно. Слишком скверно, чтобы об этом раздумывать. До конца дня настроение испорчено, я тревожусь и, считая, что в плохом настроении только из-за старика, думаю о себе нелестно.

В институте студенты подписывают заявление с просьбой заменить педагога, пришедшего на занятия в нетрезвом виде. Инициатор этой акции громко говорит о несовместимости такого поведения с моральным обликом советского человека. Но у меня другое мнение. Я считаю, что тут обычная травля, скорее всего, кому-то нужно сместить беднягу. Иду на кафедру, где работает незадачливый педагог, говорю ему, что намерена бороться. Это несправедливо! Я представляю, что услышу благодарность или встречу печальный и кроткий отказ. Однако осмеянный преподаватель разгневанно отвечает, что не нуждается в заступничестве и просит не вмешиваться в его дела. Я ошеломлена. И снова не могу избавиться от отвратительного послевкусия.

Научно-исследовательский институт. В наши годы все хорошо знают, что опаздывать на службу нельзя. За это судят товарищеским судом, могут выгнать по статье, а у партийных бывают неприятности посерьезней. Прихожу на работу и вижу в стенгазете карикатуру на своего товарища. Карикатура злая, он изображен в коротеньких брючках, из-под них видны волосатые ноги, ботинки стоптаны и покорежены, пиджак застегнут криво, не на те пуговицы. Под картинкой стишок о том, как бедняга «спешит потрудиться на благо Родины». У газеты толпится народ, все смеются, и мне становится противно. Я знаю, что этот человек живет далеко за городом и тратит на дорогу больше двух часов. Отправляюсь в редколлегию. Говорю, что

это гадость и гнусность, что к порядку можно призвать более достойным способом. В этот же день к вечеру – открытое партсобрание. Естественно, мы там всем подразделением. И вдруг в прениях звучит мое имя. Да как! Оказывается, «поведение этого самого злостно опаздывающего нашло симпатию только в моих беспартийных глазах. Тогда как все коммунисты института возмущены! И не только фактом опоздания, а также и тем, какую сомнительную опору себе товарищ выбирает». В перерыве сослуживец подходит ко мне и говорит: «Лучше бы ты не лезла. Только хуже сделала». И снова мне плохо, плохо по многим причинам. Причем то, что я оказалась «сомнительной опорой», – причина последняя.

Подобные случаи тянулись через всю жизнь. Я отметила, что практически ничему не научилась, пытаюсь спасти тех, кто меня об этом не просил. Ждала благодарности, а получала оплеухи, не делая выводов.

Пока я рассматривала это нагромождение событий и эмоций, мне казалось, я сама вращаюсь в разных плоскостях вокруг своего светила-цветка. Становилось ясным, что тоска из-за побега от спасшей меня женщины следовала за мною постоянно. Но знала ли я об этом при жизни?

Нет, потому что стоило задать себе этот вопрос, как перед глазами снова возникли лепестки с разными историями, где я отгоняла от себя мысли, нарушающие покой. Покой мнимый, его не существовало, я жила в состоянии перманентной тревоги и недовольства собой, могла смеяться, шутить, казаться дерзкой, сильной и мужественной, но была подавлена и несчастна.

Были ли у меня глаза? Сохранились ли веки, чтобы их опустить и перестать видеть? Я бы хотела остаться наедине со своим открытием. Мне при жизни казалось, что я независима и крепко стою на ногах, но самое главное, во что я верила, о чем не уставала говорить, – что не делаю долгов и должна только себе. Не потому ли это все так навязчиво повторялось, что, замолчи я ненадолго, мне пришлось бы вспомнить? И тогда, как следствие, искать выхода? А значит, менять жизнь?

Почудилось, еще немного, и я уловлю связь, пойму что-то невиданно важное, может быть, самое главное в моей короткой жизни. Этот момент, это спасение, тут кроется что-то еще, но что?

Не было у меня ни глаз, ни век. Темнота, в которой я могла бы хоть немного упорядочить свои мысли, не наступила. Да и мыслям не давалось хода, они обрывались. Похоже, я была обречена на просмотры определенных сюжетов, потому что на меня опять, как бык на поверженного тореадора, буквально понеслось новое воспоминание, а вместе с ним и еще одно открытие.

Теперь это уже не отстраненная «она», а точно – я, Берта, и мне показалось, я все о себе знаю. После неудавшейся попытки умереть, после того как незнакомая женщина вмешалась в мою судьбу, я наконец обрела себя. Как будто бы до этого случая не жила, а только стыдилась и планировалась, а теперь родилась. Могла бы умереть и исчезнуть, но вместо этого возникла и укрепилась. Это, конечно, не все, что можно понять, осмысливая тот случай, но и на том спасибо. И я провалилась в новый сюжет.

Мой герой женат. Он женился недавно, а я ничего не знала. Вижу, как прихожу в райком комсомола и застаю его с фотографиями в руках. Это свадебные фотографии. Какая же я дура! Как могла надеяться? Строила планы, была уверена, что интересна своему избраннику, а на самом деле приближалась к настоящему крушению. Ну хорошо же! Тогда я тоже выйду замуж, причем немедленно. Этот молодой врач, который часто бывает у профессора в квартире напротив, делал мне предложение уже дважды. Не знаю, конечно, но говорят, он красив. Хотя все равно. Мне имя его не нравится, а фамилия тем более. Осип Берг, ничего хорошего. Ну и ладно, правильно мама говорит, фамилию можно не менять. Все решено, в пятницу обязательно приду к соседу в гости.

По пятницам у Давида Моисеевича приемы. Моя мама вообще может приходить в эту семью когда захочет. У профессора и его жены детей нет, они оба относятся к маме как к своей дочке, опекают ее, дарят красивые вещи и подкармливают. А со мной просто носятся, и это приятно. Позже, когда профессор овдовел, мама вышла за него замуж. Прописалась даже, а потом поменялась со мной. Именно в его комнатах мы и жили с Соней последние годы, и сейчас мне странно смотреть на забытую обстановку.

Прихожу к профессору неожиданно, усаживаюсь в кресло с ногами, как дома. Выглядит несколько нагло, теперь понимаю, но оба старика молчат и улыбаются, они никогда не делают замечания при людях. В этот вечер у них в гостях уже две молодые пары, похоже, это бывшие студенты ВГИКа, где профессор возглавляет кафедру экономики. О чем-то беседуют, но мне лень вникать, и я жду. Наконец приходит Осип.

Теперь я точно знаю, что профессор ждал его, раз просит меня открыть дверь, когда раздается звонок. Открываю, Осип весь подбирается и немедленно начинает за мной ухаживать. Едва войдя в квартиру, делает элегантно движение рукой, пропуская меня вперед. Мне кажется смешным, как он открывает передо мной дверь комнаты и даже поддерживает за локоть, как будто я не иду по полу, а лезу через бревно. Он, конечно, галантный кавалер, этого у него не отнять. Тем более что понял – на этот раз я к нему благосклонна. Осип так старается, и я начинаю веселиться. Старики загадочно улыбаются, а профессор, улучив минутку, шепчет мне: «Давай, давай, Берточка. Это прекрасная партия!»

В конце вечера Осип повторяет свое предложение третий раз, и я даю согласие. Даже разрешаю себя поцеловать. Поцелуй оказывается неприятным. Думаю, как же переживу остальное.

Луч отдаляется. Блок этого луча на срезе не особенно плотный. К счастью, подобных событий не слишком много. Там, чуть дальше, наша первая брачная ночь, мои слезы и обида на мужа. Потом еще несколько неудачных соитий. Но я не хочу погружаться в проблемы своей половой жизни. Следующий луч – мои отношения с мамой.

Моя мать – человек легкий. Она не любит драм, возможно, поэтому их в ее жизни нет. Вижу себя уже взрослой девушкой, потом молодой женщиной, потом женщиной зрелой. Все мои попытки обсудить с мамой что-либо оканчивались одинаково.

- Мам, я хочу в институт поступить.
- Зачем тебе это надо? Молодость гробить!
- Что-то я поправилась, надо бы похудеть!
- Зачем тебе это надо?!
- Мам... А в постели бывает приятно?
- Зачем тебе это? Притвориться не можешь?
- Я мечтаю попасть в аспирантуру!
- Зачем тебе?
- Надо отдать ребенка в детский сад.
- Зачем?
- Мне бы... Я хочу... Надеюсь... Я должна... Вот бы...
- Зачем? Тебе?? Это??? Надо?!

Мама!!! Мама, мама.

В одних сюжетах меня словно что-то держит, в других я снова свободна. Позволяю лепесткам удалиться. Ни о чем не жалею, ничему не удивляюсь, ничего не хочу изменить. Вот такая у меня была мама.

Отмечаю, что «была» как раз я сама. А мама моя есть и будет, наверно, еще очень долго, потому что ничего ей не надо, все у нее легко, не ест она себя поедом, не живет, не прощая себя. Мужчин она всю жизнь в грош не ставила, но они ее обожали. Она все время изображала дурочку и веселилась, когда общалась с ними. Ну и ее коронное: «Ах, какой ты умный!».

После этой фразы мама всегда складывала пухлые губки бантиком, а руки – под грудь, слегка ее приподнимая. И все знакомые мужчины, даже те, что годились в женихи не ей, а мне, не сводили с нее глаз. Мама этим умело пользовалась, подарки принимала разные, и мне это представлялось отвратительным. Она себя вела как дрессировщик с кнутом. Ты – прыг. Теперь – ты. Ну а сейчас – вы оба! На всех ездила, все были виноваты, сама жила как порхала. Вот и живет до сих пор. Удивляет меня теперь только одно. Как я умудрилась дожить до сорока пяти. Вполне могла бы съесть себя значительно раньше.

Я подумала, что все-таки «тот свет», на который попала, однообразен. И цветок мой не так объемен, как могло показаться. Но он плотен в разрезе, это значит, что я проживала много подобных ситуаций. Нет, выразилась неточно. Ситуации разные, но в них была одна главная эмоция, какое-то специфическое состояние, в котором я постоянно делала один и тот же выбор, испытывала одно и то же чувство, оказывала одно и то же предпочтение.

В детстве и юности стыд застилал мне небо. Кажется, я не могла пробиться к пониманию именно из-за стыда, который сковывал во мне способность мыслить. В зрелости это чаще всего были разочарования. От несложившихся отношений и от отношений уже существующих. С мамой, с мужчинами, с дочерью.

В луче моей интимной жизни, который я сейчас рассматриваю, случались пикантные моменты. Отторжение, с которого все начиналось, прошло вместе с непросвещенностью. Сначала я притерпелась, а позже вошла во вкус. Но в глубине души всегда считала это занятие постыдным, как мне втолковывала мама, как вообще было принято считать в мое время. И до конца избавиться от этого так и не сумела. Поэтому даже в минуты, которые могли бы принести радость и тем самым продлить мою жизнь, я все равно считала, что занимаюсь чем-то неприличным, за что обязательно понесу наказание в свой срок.

Мои отношения с дочерью – несколько объемных блоков, располагающихся друг за другом. Пока я это осмысливала, цветок-светило то приближался, то отдалялся, поворачивая лепестки разными гранями, чтобы можно было рассмотреть интересное.

Возникла пауза, в которой я подумала о том, что пытаюсь систематизировать свою жизнь. Может, мне предстояло что-то выбрать? Или этот выбор должен быть сделан за меня кем-то, кого я не вижу, но кто, несомненно, есть? Ведь не одна же я здесь...

Цветок, мерцая лепестками, надвигался.

Я не чувствовала усталости, но бодрости тоже не было. Ни разочарований, ни раскаяний, ни радости, ни подъема. Единственная эмоция, которая за мной сюда просочилась, – удивление от того спокойствия, с которым мне теперь удавалось себя принимать. А удивлялась я всякий раз, когда осознавала, что мною там, в мире живых, движет. Двигало, так вернее.

Впрочем, все эти времена – прошедшее, настоящее – я прибегала к ним по привычке, думая все еще так же, как при жизни. И вдруг мне стало интересно, сколько времени прошло с тех пор, как я умерла. Этот интерес – убедительный, как трезубец, – пробил стену между мной теперешней и тем, кем я была.

Я увидела больничную палату, где неподвижно и некрасиво застыло мое тело. Простыня, пришедшая в движение во время агонии, медленно сползала на пол. Времени не прошло!

Возник звук – продолжительное «з-з-з» среднего регистра, он сопровождался вибрацией и свечением. Звук и свет исходили из центра меня мыслящей, меня удаленной от плоти, меня сохранившейся. Звук возникал от моего контакта с реальностью, или как еще можно назвать то, что считалось жизнью много лет. Знание далось независимо, без всяких просьб с моей стороны. Я получила ответ на свой вопрос и теперь знала, что времени для меня не существует и нужно продолжить изучение своего светила-цветка. Вот что было сейчас самой важной задачей.

Рожденная мною девочка. Прежде всего, я совершенно не жаждала материнства. Это только желание Осипа, который намного меня старше и сознательно стремился иметь семью.

Я же хотела учиться, работать и стать независимой. Стыда из-за этого я сейчас не чувствовала, но и симпатии к себе тоже. Почему я была такой, ответить не удавалось.

Возможно, пойму это позже. А пока я рассматривала себя беременную с тяжким токсикозом. На смену тошноте и полуобморочному состоянию пришли огромный живот и головные боли. Но ничто не могло изменить образа жизни моего мужа.

Мы жили вместе со свекровью, а свекровь моя – особа старой закалки. У нее свой круг общения, свои интересы и убеждения, она совмещала походы в еврейскую общину с пением в хоре старых большевиков. Почти каждый вечер свекровь принимала своих знакомых и вела с ними светские беседы. Я плохо себя чувствовала и сидела в своей комнате. Впрочем, если бы захотела, могла быть и с ними, но тогда, как молодой хозяйке, мне пришлось бы подносить им чай. Это занятие не для меня, на мой взгляд, они сами должны проявлять ко мне внимание, раз я в положении. Но никому это даже в голову не приходило, и я злилась.

Ночами было еще хуже. Муж привычно расписывал пульку в обществе друзей и их жен. Среди них – две еврейки, по-моему, у Осипа с каждой из них когда-то были отношения. А может быть, и продолжались, мама говорила, он на все способен даже при беременной жене. Взгляды этих дамочек на моего мужа перехватить нетрудно, да они и не скрывали. Становилось особенно гадко, получалось, меня даже не остерегались, а значит, ни во что не ставили как женщину. Я могла бы с ними конкурировать, доказывать право на внимание мужа, если бы не этот живот, но теперь я чувствовала себя обслуживающим персоналом на самой дальней кухне какого-нибудь графского дома. Естественно, я все высказала Осипу, как учила меня мама, но в глубине души считала, что это из-за ребенка, который так меня изуродовал. Конечно, Осип уже старый, ему тридцать с гаком, а я молода, и можно было не спешить.

В луче моих бесконечных хождений между гостями мужа и свекрови то и дело возникала досада по поводу собственного «нетоварного» вида. Похоже, я была твердо убеждена, что успех обеспечивается только внешними факторами. Сейчас без всяких опровержений и доказательств мне ясно, что, бедная, я заблуждалась. Снова испытала симпатию к себе-глупышке. Как же я намучилась, бедолага, из-за незнания элементарных вещей.

Поспешила дальше и остановилась, погрузившись в следующий сюжет.

В раскрывшемся луче, как на экране в кинотеатре, начинаются роды. Осип нервничает, но и ликует, отмечаю это между схватками. Снова негодную. Как может он ликовать, когда у меня такая боль?! Его глупые слова о том, что он врач и все проходит нормально, меня возмущают. Он черствый, черствый! Правильно мама говорила, все мужчины эгоисты. Мне плохо, конечно, из-за ребенка, разве мыслимо причинять живому существу такую боль!

Роддом имени Грауэрмана, говорят, хороший. Тут есть знакомая врач. Но на меня все равно никто не обращает внимания, когда Осип уходит.

Сажу на стуле и умираю. Хочется выдавить свой живот как подростковый прыщ. Надеюсь, будет мальчик и ему никогда не придется такого испытать! А если девочка, то пусть у нее не будет детей! Мама! Почему ты мне не сказала? Как ты могла допустить, чтобы я попала в этот ад?! Не могу больше! Не могу... ЫЫЫЫ!!!!

Ну надо же. Какая трагедия. Глядя на себя рожаящую, я испытала соблазн снова сказать «она». Неужели я могла так безобразно себя вести? Все еще находясь в этом луче, предположила, что ко мне понемногу снисходит некая мудрость, потому что не стало нужды раздумывать об относительности любых человеческих переживаний. Со стороны я сочувствую бедняге себе, даже усмехаюсь немного, насколько это вообще возможно сделать вне плоти. Сейчас все кончится, родится крохотная девочка, и вместе с ней, как это бывает всегда, новое летоисчисление.

Я по-прежнему в луче. Растворяюсь в покое. Сейчас я увижу своего сына. Только богатырь мальчик мог так измучить свою родительницу. На фоне стены в белом ободранном

кафеле – акушерка. Велит мне посмотреть, кто родился. Я и так знаю, но послушно открываю глаза пошире. Нет. Этого не может быть. Нет!

Мое возмущение при виде дочери сравнимо разве что со страшным предательством, последствия которого необратимы. Ужасное чувство возрастает. Смотрю в ее лицо. Проваленный подбородок. Жуткая длинная кособокая голова. Красное сморщенное тело. Ничего более уродливого я даже и представить себе не могла. А какая маленькая! И вот эта паршивенькая закорючка – мой ребенок? Это убожество? Это страшилище? За что?

Теряю сознание. Медики бегают, суетятся, но трещины в пространстве не возникает, жизнь вне опасности.

Стоит живому человеку только-только заснуть и вдруг проснуться от резкого звука, сердце очень сильно колотится, и кажется, разорвется. Если бы раньше я верила в душу, то подумала бы, что она отделяется от тела, когда человек засыпает, и стремительно направляется куда-то туда, где может набраться новых знаний, куда-то далеко, во что-то, ни с чем земным не соизмеримое. Резкий звук, который будит человека, заставляет душу буквально грохнуться вниз. Это падение сокрушает тело, поэтому так сильно бьется расслабившееся и собравшееся отдышать сердце. Раньше я ни о чем подобном не думала, но сейчас оказалось – знала всегда, потому что эта информация для меня не нова.

Точно так же, как грохается, возвращаясь, душа в едва уснувшее тело, мое бесстрашие пробила эмоция. Собственная эмоция обрушилась в эпицентр мысли взрывами электрических разрядов. Это чувство – сострадание к ребенку – было мне совершенно неведомо и потрясло тем больше, чем глубже я осознавала, что новорожденное дитя слышит и понимает каждую направленную на него мысль. Я сильно разволновалась и оказалась снова далеко от своего цветка, даже потеряла из виду тот луч, в котором только что пребывала. Я увидела достаточно, чтобы наконец об этом поразмыслить.

Живой человек сказал бы, что его сердце в этот миг очень сильно забилося. Но здесь все не так. Вместо тела сгусток мыслящей энергии, имеющий свой центр и свою периферию. Мне пока не удавалось увидеть себя со стороны, и я не знала, какого я цвета. Вместо ударов сердца были искры разрядов, они случались тем ярче и тем чаще, чем сильнее мое ощущение. Я пребывала в смятении, вспоминая, что рассказывали мне подруги о первых минутах их материнства. Рождались, конечно, на моем веку и долгожданные, заранее любимые дети, но бывали случаи похлеще моего, и сейчас мне было чертовски жаль детей, которых так встречали на Земле.

«Закорючка, убожество и страшилище». Вот слова, которыми я встретила своего единственного ребенка. Увидела, что произошло потом. Но как знать, тайлись ли в этой части моей судьбы вещи, которые мне при жизни понять не удалось? Нужно проверить.

Я не хочу ее кормить. Не хочу вообще ею заниматься, она пришла, чтобы вытеснить меня, чтобы забрать мое время и силы. Все говорят – я талантлива, могла бы сделать столько полезного! Для людей, для страны. Но теперь должна сидеть дома, чувствовать спиной недо-вольство свекрови и мужа, не спать по ночам и слушать этот плач. Пусть он встает к ней сам, я тоже имею право выйти на работу. Мама соглашается с ней сидеть, она не сидела со мной, а теперь готова заниматься ребенком.

Мне снова расхотелось быть ею, той, что в луче. Но разделить не получилось. Это я, и я больна. У меня послеродовая депрессия, но никто этого не понял, мой муж-врач в том числе. Меня критиковали, на меня кивали головами и поджимали губы. Меня обсуждали и называли разными обидными словами. «Зачем Ося женился на этой? Неужели нельзя было найти среди своих?»

Вижу день, когда впервые осталась одна и подошла к ребенку. Девочка плачет, беру ее на руки. Всматриваюсь в лицо. И вдруг она улыбается. Раздвоение, которое чувствую, слишком мучительно, кладу младенца обратно в кровать. Одна часть меня по-прежнему отторгает

девочку, другая хотела бы забыть обо всем, прижать ребенка к груди и больше не расставаться. Но между первой и второй частью меня – бездна, обрыв, которого не преодолеть. И это так больно, что я сбегаю. Точно так же как тогда от своей спасительницы. Не оглядываясь.

Я снова оказалась вне сюжета. Заискрило. Пространство, окружающее цветок, изменило цвет, пройдя весь спектр до почти черного. Цветок засиял в темноте очень похоже на то, как светятся звезды. Совершенно новая картина, ничего подобного прежде не случилось! Неужели нашла?

Два побега, определившие судьбу. Результат первого побега мне уже ясен. Слишком объемны лепестки моих собственных попыток спасти кого-нибудь и тем самым заочно рассчитаться. Попыток, которые ни разу успехом не увенчались. Сбежав от своей спасительницы, не вступив с ней в контакт, я обрекла себя на вечный поиск компенсации.

А что же второй побег? Что определил он?

Ребенок у мамы, я на службе. Разрабатываю новый проект, кто же, кроме меня, доведет его до конца? Постоянные конфликты в семье. Эти люди не понимают, что такое долг. У них все сводится к куриным инстинктам, на самом деле жизнь значительно сложнее. А девочка вырастет, мама об этом позаботится.

Развод. Что же ты, Осип, настаиваешь на том, чтобы забрать ребенка? Вся твоя любовь на словах, на самом деле ты тоже весь в работе и своих светских мероприятиях. Ребенок тебе совершенно ни к чему. Тогда не надо меня критиковать, ты и твоя маменька не слишком-то расстарались, Соню растит моя мать!

Мама, пойді погуляй с Соней, у меня выгодная халтура, я не могу бросить, я обещала, и мне нужны деньги.

Девочка болезненная, врач советует повезти ее к морю, ей нужен йодистый воздух. Я смогу заработать, и это мой долг. Поезжайте.

Смерть бабушки. Хочется отложить этот сюжет на потом, и здесь мне ничто не препятствует.

Я ненадолго отстранилась от лепестков и снова пересмотрела их, иногда нарушая хронологию.

Ребенок растет, и я все больше понимаю, что эта девочка имеет ко мне непосредственное отношение. Но я хочу выжать из себя максимальный КПД! Вырастить ребенка может кто угодно, мой же потенциал значительно выше. Все вокруг говорят о моих способностях. К моей фамилии прочно прикрепились слова «талантливый инженер». Это обязывает.

Второе замужество. Теперь я понимаю, что жена должна следовать за мужем. Правда, мама не согласна, но довольно мне слушаться. Теперь решаю сама. Уезжаю в Ленинград, позже заберу Соню. Сначала надо устроиться.

Второй развод. Мысли о том, что ребенок должен жить с матерью. Москва. Соня плохо воспитана, надо это как-то подкорректировать.

Стройки заводов Донбасса нуждаются в крепком инженерном костяке. Командировки. Недолгие периоды дома. Какая странная растет девочка, интересно, что у нее в голове. Возможно, ее мысли так же нелепы, как внешность. Я видела по телевизору, как бежит верблюд. У него все ноги поднимаются в разные стороны. Соня очень похожа бегаёт. Как-нибудь надо этим заняться. Конечно, к награде представили кого угодно, только не меня!

Диссертация, я не разгибаюсь. Соня плохо учится, но вопрос качества питьевой воды по важности приравнивается к стратегическому, питьевая вода с нарушенным содержанием фтора угрожает здоровью целой страны. Все позже, после защиты. Мама, мне некогда учить с ней уроки. Все нормальные дети учат уроки сами. Стыдно для пионерки! Я должна завершить труд, это важно для всех!

Как ты не понимаешь, моя же тема, он защитился по моей теме, я показывала ему материалы!

Реконструкция Суздаля. Мама, вот шанс! Думаю, за пару лет я с задачей справлюсь. Зато мы купим новую мебель. Как раз и Соня подрастет, можно будет с ней хоть о чем-нибудь разговаривать.

Так длилось и длилось. Десяток сцен, сотня, тысяча примеров одного и того же.

Как-нибудь нужно заняться Соней. После того как выполню долг. Поиск долга. Поиск чего угодно, чтобы казаться занятой. Чтобы оправдать свой побег. А ведь бабушка мне говорила!

Поискала лучик, связанный с ее смертью. Где же, где? Вот, бабушка говорит, чтобы я отменила врача, потому что она сегодня умрет. Я спорю, но она просит меня сесть. Сажусь со скучающим видом специально, чтобы бабушка не подумала, что тревожусь. Пусть видит, я уверена, она поправится. Вот она берет меня за руку...

Как интересно. Если сильно на чем-то сконцентрироваться, то кажется – ты жив. Настоящие фантомные боли. Хорошо, что мне не пришлось в голову сосредоточиться на родах. О, да я способна шутить! Глупо жаловаться на однообразие. На самом деле все интереснее и интереснее.

Бабушка берет меня за руку и говорит:

– Берточка! Мне пора стало. Я что хочу тебе сказать перед смертью. Ты Сонечку свою не бросай, она у тебя девочка особенная. Я ей силу свою отдала, как мне моя мать когда-то. Руку свою ей передала. Тине не смогла, не была рядом, когда принять могла. А ведь у нас из рода в род переходила сила наша, я уж думала, умру и оборвется. Раз уж ты за мной пойти не захотела, так к Сонечке поближе будь, времени ей отдавай побольше. Тину не слушай, хоть она и мать тебе, но в прорехах вся. С отцом Сонечку не ссорь, пусть девочка счастливой растет. Если ты ее любить будешь, она тебе от нашей силы много дать сможет. Ты ведь с твоим характером сама себя ранишь да раны ковыряешь. Горемыка ты. А она спасет тебя, не смотри, что крошечная, в ней жизни, как у кошки, на семерых хватит. Берточка, запомни мои слова, это тебе на судьбу зарок.

Слова бабушки неприятны. Я всю жизнь пресекала такое, а мама тем более. Это же дремучие пережитки! И конечно, я в подобную чушь не верила, но не дерзить же старушке, когда ей девяносто, она больна и говорит о смерти. Я отвернулась и сидела, прикусив губу. Поневоле вспомнила тот жуткий случай, когда бабушка якобы исправила Соне голову. То есть голова действительно изменила форму, но если явлению нет научного объяснения, то разве мыслимо рассматривать его серьезно? Так можно поверить и в привидения. Хотя, конечно, что-то непонятное в тот день произошло.

Меня слегка отклонило от луча, и я тут же отбросила воспоминание. Деревенской знахаркой была бабка, тогда рожали по десять детей, и даже больше, а выживало трое-четверо. Вот и вся «наука». Мало ли во что они по своему невежеству верили.

Бабушка снова сжимает мою руку, пальцы как гвозди. Говорит, что все соседи ушли, мы одни. Чтобы я уходила тоже, с ней не сидела. Внушает: «Ты сейчас пойдешь в комнату и будешь спать, прощай теперь. Иди. Иди, Берточка. Иди».

Это «иди» теперь меня ударило, я снова отодвинулась от цветка и опять увидела – искрит. Вспомнила, как ушла тогда, как мое тело деревянным срубленным стволом лежало на кровати и не могло подняться, пока бабушка кричала. И как потом крики стихли. Вернулась я к бабушке, только когда она умерла. Но ведь никогда, ни разу не раздумывала о последних ее словах! Не считала нужным. Впрочем, вижу несколько историй, где я была близка к тому, чтобы бабушкин завет вспомнить. Все очень незначительно.

Поначалу я видела Соню довольно редко, она не откровенничала со мной, только поглядывала исподлобья. Она не остра на язык, чаще говорила односложно, свои желания никак не мотивировала. Любимый ответ «потому что». Маленькой была толстой, подростком – неуклюжей. Дружить не умела, только в восьмом классе появились мальчишки – три постоянных

и еще парочка временных – несерьезная публика. Вот Соня в покое, но взгляд жалкий, просящий. А вот злится. В эти минуты лучше не смотреть, она откровенно некрасива, глядит тяжело, не мигая, белеет. Говорю ей: «Сонька, если ты злишься на кого-то, опускай глаза, не смотри. Иначе будешь наживать врагов, люди не прощают такого взгляда». Но от нее отлетает как от стенки.

Вообще в ней не было ничего моего. Она – копия своего отца, а мне хотелось бы, чтобы мой ребенок был похож на меня.

Я как будто перелистываю страницы. Все-таки особенность была, теперь это для меня куда яснее. Когда она впервые начала гадать.

Вот история, вижу. Соня рассказывает моей подруге о том, чего знать никак не может. Рассказывает по-детски, слова подбирает не точно, но смысл ясен. Совпадения ее рассказа и реальности настолько однозначны, что меня пугают. Иду на прием к невропатологу, потом к психиатру и рассказываю все. Психиатр меня успокаивает, говорит, что здесь, вероятнее всего, случайное совпадение, а ребенок, видимо, очень впечатлительный и кого-то наслушался. Просит привести. После приема врач все-таки лекарство Соне назначает. Значит, она не совсем здорова, и я права. Но мне надо уезжать, оставляю все на мамино попечение.

Были странности. Со смертью соседки, например, которую Соня действительно предсказала. Вспоминать неприятно, ощущаю некоторую поспешность. Была бы рада, если бы все лучи-лепестки развернулись одновременно, чтобы найти ответ на свой вопрос сразу, не разглядывая каждый по отдельности. Вот вопрос: могла ли Соня действительно что-то, на что неспособны другие?

Нет, все по-прежнему в блоках. И я в разномастных лепестках практически не вспоминаю об этих Сониных странностях. Нелепое существо, как она будет жить? Все-таки мы были слишком далеко друг от друга. Вот смотрю на нее, сидит за столом и вроде бы учит уроки. Думаю, что совсем ее не знаю, понятия не имею, чем занята ее голова.

Она хочет быть педагогом или врачом. Какая глупость! В педагогический, конечно, поступить можно, но она и так, мягко говоря, красотой не блещет, а там, в женском коллективе и точно старой девой останется. Заклюют ее бабы, как пить дать. Говорю ей, чтобы шла в строительный. Там много мальчиков, познакомится с кем-нибудь. Стоит, смотрит на меня, глазами хлопает.

Мальчишки, которые обращают на нее внимание, несерьезные. Но вот последний, Саша, мне нравится. Вижу много лепестков с его участием, он за нее горой. Забавно, как он защищает Соню от меня, причем на полном серьезе.

Ругаю ее за то, что взяла мой маникюрный набор и не положила на место. Стоит, смотрит не мигая, значит, злится. А вот другой луч. Саша дарит Соне на 8 Марта маникюрный набор, ей протягивает, а на меня смотрит. Ну, надо же, думаю, какой заступник! Смешно.

Немного назад. Сонин отец только что второй раз сделал мне предложение. Женщине одной в нашей стране подняться трудно. «Разведена» – как клеймо. Почти что морально неустойчива. Ни в партию, ни на хорошую должность. Осип родной отец, и, в конце концов, я все про него знаю. Не придется привыкать к новым странностям и неприятным чертам. Так почему бы и нет?

А потому и нет, что Соня не хочет. Вот этот эпизод, когда я решаю сделать так, как просит она. Хотя мама говорит мне, что я неправа. Что детей никогда не надо об этом спрашивать, их надо просто ставить в известность. Я рассматриваю этот эпизод и думаю, что вряд ли меня можно назвать плохой матерью. Ведь ради дочери я отказалась от личной жизни.

Я снова отдалилась от цветка. Он качался неподалеку, нераскрытые лепестки подрагивали. Ближе других – блок, посвященный моей карьере, где что ни луч, то борьба. За качество, за первенство, за признание. Чаще всего я оставалась разочарованной, не получала того, к чему стремилась, или получала не полностью. Иногда я все же достигала результата, но радость все-

гда была чем-то омрачена. Например, тем, что кто-то из коллег смог подняться еще выше. Я была рада успехам организации. Но побеждать любила тоже.

В лепестках моей службы неуютно. При жизни я отдала работе действительно много сил, не жалела себя. Но выполнила ли свой долг?

Неподвижность. Возможно ли в этом мире ощутить усталость или пресыщение? Время стоит, теперь я это знаю, – значит, могу сколько угодно пребывать в бездействии. То есть могу не думать.

Но едва я это сформулировала, как тут же вспомнила, что недавно роптала как раз на невозможность подумать подольше. Что это значит?

Уплотнилась и снова начала искриться. Внутри меня что-то менялось. Я это чувствовала совершенно непривычным для себя образом. Менялся и цветок. Лепестки, которые вначале были одного цвета, теперь отличались друг от друга. Моя учеба, мои профессиональные истории, отношения с мужчинами, с подругами, с матерью бледнели. Лепестки с этими сюжетами становились похожи на крылышки высохшей бабочки, с которых облетела пыльца. Крылышки-лепестки, прозрачные и хрупкие, отделялись от цветка и летели в мою сторону. Там, где находилась сейчас я, они терялись из виду. Возможно, снова возвращались в меня, они же из меня вышли. Возможно, таяли.

Как мало остается в конце концов того, что действительно имеет значение. А жизнь кажется такой перегруженной.

Стала мыслить иначе. Мне показалось, я больше не одна. Мог ли существовать кто-то, кто говорил со мной изнутри меня же? А может быть, это все была я сама? «Тот свет» есть, но значит ли это, что существует Бог? Я увеличивалась, и в меня, спирально вращаясь, входили все новые и новые знания. Я приготовилась к переменам, я уже находилась в субстанции перемен.

Качнуло и остановилось. Мой цветок, мое светило, что произошло? Передо мной возникло несколько неоткрытых блоков, и все они касались Сони.

Крошечная Соня, маленькая Соня, подросток Соня. Мне не было интересно. Почему? Что было не в порядке со мной – женщиной, матерью? Почему? Почему опять остановилось превращение? Могла бы слиться со всеобщим знанием и получить ответы. Захотелось понять – кто-нибудь меня слышит?

Я слышала себя. Я наконец слышала себя. Но превращение еще не свершилось – я еще не нашла главного вопроса, и тот, что собиралась задать, меня отклонял. Я была раньше?

Да, я многократно была раньше, я была, есть и буду, но с чего все началось в этот раз? Вот она, маленькая воронка пространства, теперь можно вытянуться и проникнуть туда. Там хранится информация о моем зачатии. И какова цена откровения?

Насильственное зачатие и, как следствие, программа самоуничтожения. Хотя такая причина программы – одна из множества.

Вот она я, не дышащая, только что извлеченная из материнского лона. Еще до рождения я не хотела жить. Первый раз я попыталась умереть, рождаясь. Не дали. Второй раз тогда, в реке. Поэтому я и бежала от своей спасительницы. Третий мой выбор был связан с Соней.

Я не хотела жить, поэтому предпочла забыть бабушкины слова.

Вот лучик, в котором Соня выходит замуж, чтобы дать мне радость, а вместе с ней стимул к жизни. Даже тогда я не выбрала вспомнить, что можно принять спасение. Впрочем, уже было поздно. И я теперь знаю причину ответа Сони, когда я собралась за Осю второй раз. Много, многое другое я теперь знаю.

Что меня ждет? Не главный вопрос. Тогда спрошу иначе. Зачем это было надо, чтобы на свет родилось такое не желающее жить существо?

Эта синусоида рождений и смертей должна охватить все сущее, прежде чем она, как змея, созреет и захочет сбросить кожу для обновления.

Всего-то настала очередь? И это цена драмы?
Возможно ли было предотвратить мое умирание?
Любое умирание может предотвратить только сам умирающий.
Но что теперь будет со мной?
Вопрос не главный.

Просматриваю лучи. Соня, Соня, Соня. Да, вот момент, когда я вдруг обратила внимание на ее речь. Была удивлена тем, что мой ребенок мыслит! Дочери шестнадцать, а я будто услышала ее впервые. Я пропустила жизнь моего ребенка, открыла дверь и не вошла, я не выполнила долг. Изю всех сил стремясь к его выполнению, я не там его искала.

Мы как будто жили на разных планетах. Я плоха? Я погубила своего ребенка?
Вопрос не главный.

Почему моя мать так легко живет такую трудную жизнь. Потому что рождена от любви?
Вопрос не главный.

Неправда, что я не умела любить!

Это сказала я, но меня никто не обвинял. Здесь никто не обвиняет, ада нет, бабушка, ты зря боялась. А так со всеми? Нет, с каждым иначе. В разнообразии лепестков мы бесчисленны, как отпечатки пальцев.

Почти совсем не осталось лучей, я просмотрела последние, они истончились и исчезли. Сколько сил положено, чтобы обезвредить питьевую воду! Отчаливают затерявшиеся блоки научной деятельности. Жизнь, потраченная на то, чтобы спасти всех – от муравья до человечества, не оставив шанса спасти себя ни человечеству, ни муравью. Гордыня? Отчаяние?

Вопрос не главный.

Какой во всем этом смысл?

Божественный цветок сотворится только из обновленных нитей. Вселенная обретет целостность, когда заполнит сосуды всех душ преображенным разнообразием своих возможностей.

Вопрос не главный.

Я могу что-то изменить? Или мне уже поздно и осталось только родиться в неизвестность снова?

Я могу сейчас помочь той женщине?

И Соне?

Свет! Может ли быть прекрасным прозрачный невидимый свет? Тепло. Может ли еще согреть кого-то уже не существующее тело?

Главный вопрос.

Каждую минуту использовать, чтобы любить.

Любовь?

Что бы произошло, если бы я последовала бабушкиному завету?

Разве возможно человеку при жизни познать любовь? То, что я сейчас чувствую, эта лавина жизни – любовь! Она совсем не похожа ни на что земное. И вот это я пропустила?

Существует только один способ, остальные мнимые. Я уже мертва. Но есть Соня. И даже умершей, мне еще возможно успеть.

Я вне времени, но по ту сторону жизни вернуться не могу. Вот рубеж, ниже которого мне сейчас не опуститься. Распластанное в кровати тело, лицо, изуродованное болью последних минут.

Соня подходит к кровати и смотрит в мои открытые глаза. Зовет:

– Мама...

Да, мои глаза открыты, но мне не проникнуть внутрь их предела, чтобы посмотреть на нее оттуда, чтобы ответить.

– Мамочка...

Время вздрогнуло и наступило. Сверху, снаружи, из текущего мига, из потока грядущего, которому я уже принадлежу, посылаю ей все, что в состоянии сейчас отдать. И это больше, чем я была при жизни. Тепло, данное мне когда-то в долг, покидает мое тело и соединяется с рождающейся любовью. Умирая, переходишь в будущее. Я люблю тебя, девочка моя!

Соня, склоненная над моим телом, распрямляется, едва прикоснувшись к моей руке. Она стоит в облаке тепла и света, которое пронизывает ее и приобретает ее формы. Возможно ли постичь тайну, пока живешь?

Подними глаза к небу и не отводи взгляда до последнего часа!

Утренний приглушенный цвет золотистого прибрежного песка, проснувшегося, чтобы впитать жар предстоящего дня. Небо, пронизанное единым духом, и люди, произрастающие из единого корня. Мы – это небо, мы – это земля, мы – это все! Мы – Бог.

Иди, девочка. Иди и ни о чем не тревожься. Сделай все, чтобы любовь, которой ты наделена, умножилась. Свет! Верни свой долг и не волнуйся о Божьем промысле. Любовь отдается легко.

(хей) п

Известно ли тебе, Путник, что тот, кто сотворил этот мир, продумал обустройство пещеры до мелочей?

Она загадочна и прекрасна, она объемна, как вселенная, но ей некогда любоваться собой. Пещера скромна и лишена досуга, отдавая, она трудится для тебя.

Вот само знание мира входит в твой сон, Путник, и с ним – ответы на вопросы жизни. Тайна заключения и тайна свободы сейчас для тебя открыты. Когда ты спишь в пещере, то включаешь в себя необъятное. Ни в мысли, ни в речи, ни в действии, сейчас у тебя нет нужды, но все эти свойства все равно при тебе.

Мудрые книги говорят, что одна из главных ошибок человечества в том, что люди приписывают себе своих детей, тогда как дети им не принадлежат. Но, услышав эти слова, человек ужасается.

Плоть и кровь, выстраданное чадо, не мое?

Не твое.

Вот она, душа, и она следует с небес, которые не только сверху, а вокруг и повсюду.

Как из Иерусалима можно только спускаться, а в него восходить, так и душа, получив свою плоть, спускается и, утратив общность, трудится, чтобы обрести. И восходит затем к Единому снова. Где обретает.

Душа ребенка, уникальная в будущем, уже существует в замысле.

Но не ты, Путник, сотворил зерно души.

Пещера уже успела шепнуть тебе, что дети – не собственность их родивших. И даже – не их продолжение.

Они – только данная возможность увидеть, насколько многогранен Он.

С цепи сорвалась

«С цепи сорвалась», – говорила о Соне бабушка, качая головой, брала валидол под язык и, сжав маленькие кулачки, поднимала ими свою огромную грудь кверху в знак того, что у нее болит сердце. В этой жизни, кроме внучки, больше у Алевтины никого не было.

«Вот ведь, – рассказывала она, убирая могилку своей единственной, умершей так рано дочери, – как будто черт в нее вселился. Гулянки с утра до вечера, курит, дым коромыслом, и не слушает никого наша Сонечка. Ты вот ушла, Берточка, а девочка сирота. И я уже старая становлюсь, вон как плохо стала ходить. Что ж теперь будет, Царица Небесная? Это за что же мне такая жизнь, провались все пропадом...»

На этом Алевтина речи свои обыкновенно заканчивала. Она не умела говорить долго ни вслух, ни мысленно, поэтому, прибрав цветник, усаживалась на маленькую лавочку и долго сидела, глядя на надгробие, под которым лежали ее мать и дочь.

Соня на кладбище не приезжала. Не знала даже, где именно находится могила. Сама бы не нашла, а с Тиной не поехала бы ни за что.

Она считала себя взрослой, самостоятельной и имела на все собственное мнение. К кладбищам относилась скептически и была уверена, что их посещение – занятие старых и слабых людей, которым, чтобы о чем-то думать, надо это иметь под руками.

После долгого молчания Сониная жизнь превратилась в нескончаемый монолог, в котором она практически не делала пауз. Она все время говорила, и казалось – не выговорится никогда. К ее счастью, слушателей было достаточно.

– Если нужно построить из обломков, сначала требуется разобрать завал. Мне двадцать лет, я замужем. Я – это обломки. Не калейдоскоп, который то и дело меняет картинку. Нет. А куча. Без системы, без замысла, без идеи. Кто как бросил. Что откуда сползло. Что с чем сцепилось. Неподражаемая абстракция. Я-то вот она, вся тут, а где вы – мои родители, строители, созидатели? Как жить в этом мире? Как в него вписаться? Как объяснить людям, чего я хочу? А чего я хочу? Да пошло все на фиг.

– Ба, а кем был мой дед?

– Зачем тебе?

– Естественно, я и сама знаю, что ты ничего мне не скажешь. Но я все равно в курсе. Он был тапером. Он был человек-оркестр.

Талантище. Подвыпил, сел за руль. Поймали, посадили. И ты его бросила. И никогда больше не подпустила к маме. Лихо ты, Тина, с людьми обращалась.

– Да я ведь от него одиннадцать абортот делала, Сонечка. Он ведь совсем меня не жалел, один за другим, один за другим. А ведь у нас все было без наркоза, наживую. Лежишь потом и пальчиком вот так двинуть не можешь... – Тина подняла пухлую руку с изящной ладонью и слегка согнула мизинец. И больно, и обидно, так что жить не хочется. Еще не подживет, а он лезет опять... Да и выпить любил... Напьется и лезет...

– Так рожала бы! Аборты! Жена ты ему была или нет? Всегда у тебя все виноваты, все плохие. Придумала бы что-нибудь, или не женщина ты? Я не буду тебя слушать.

– Мужья эти, и зачем они только нужны. – Тина тоже не слушала Соню.

– Что «мужья»? Что «зачем нужны»? Что? Обойтись без? Ну, дудки. Я долго за всеми вами наблюдала. Лучше уж посмотрю на свекра со свекровью.

Словно продолжая разговор, Соня спросила свою свекровь, позвонившую детям:

– Ты сегодня куда-нибудь пойдешь вечером?

– Нет, мы дома будем, может, вы к нам зайдете?

Это «мы» Соне нравилось, но у нее другие планы.

– Нет, к нам гости придут.

– Какие гости посреди рабочей недели? Опять пьянка? – Мария Егоровна жила только семьей и к Сониной общительности относилась подозрительно.

– Да какое ваше дело, кто к нам придет в гости! Почему сразу «пьянка»? Когда же вы нас в покое оставите с вашими подозрениями? Все, пока.

Вечером явился с проверкой Сашин отец. Войдя в комнату и увидев сына с невесткой за накрытым столом в компании еще одной молодой пары, он поджал рот, прищурился и, как если бы стоял перед провинившимися солдатами, произнес:

– Это в честь чего же тут у вас распитие посреди рабочей недели? – Конфликтовать с детьми Петру Ивановичу не нравилось, но порядок важнее, поэтому Сашин отец нервничал, отчего голова его слегка тряслась.

И грянул скандал.

– Ты зачем на моих друзей наехал? Это же Милочка с мужем, она и мухи не обидит, а ты?! Да тебе по фигу, кто сидит за моим столом. Раз бутылка, значит, пора устраивать погром. Ну, вот что. Это наше дело, мы взрослые люди. Да, ты отец моего мужа. А ты думаешь, почему мы с вами жить не стали? Потому, что я ни под чью дудку плясать не буду. А здесь – мой дом. Мой! Понятно? Не нравится, уходи!

... – Прости, Сашка, прости. Я понимаю, это твой отец. А я твоя жена. Тебе самому бы понравилось, если бы ты пришел к кому-то в гости с бутылочкой сухого скоротать вечерок и вдруг явился бы чей-то предок и начал вещать, что ты – пьянь?

... – Что значит, я никого не уважаю? А что такое уважать? Молчать и кивать, если тебя возьмут мордой? Я двадцать лет молчала. И со мной творили что хотели. Хватит, выросла.

... – Сашка, мы уже полтора года женаты, а детей все нет. Сашка, родной... Думаешь, у нас будут дети? Ты сам, когда мальчишкой был, всегда любил играть с малышами. Сашка, если я не смогу родить, я от тебя уйду. Не буду тебе жизнь портить. Тебе нравится, как я похудела? А ведь всю жизнь жиртрестом дразнили, да?

... – Тина, ты лучше ко мне не лезь. И не смей разбирать мои шкафы. Как хочу, так и раскладываю. Да что ты знаешь о мужиках? Я с Сашкой прожила уже больше, чем ты с тремя своими в сумме. Что «деньги»? Он и не должен их зарабатывать, он на дневном учится. Да, а я работаю. И учусь. И это тебя не касается.

... – Как же классно у Норы дома, Вер! Мне так нравятся ее родители! За ними так здорово наблюдать... Как общаются друг с другом, как шутят, как ворчат на Нору...

Высокая, изящная, с яркими чертами лица, Вера жила рядом и знала Соню с детских лет. Они вместе гуляли во дворе, а когда подросли, стали заходить в гости друг к другу. Вера росла молчаливой, уравновешенной и добросовестной девочкой, поначалу она не выделяла Соню среди других детей. Теперь Веру притягивали в подруге качества, ей самой не присущие. Она примкнула к слушателям Сони и с удовольствием приходила к Гуртовым, где постоянно было шумно и весело.

– Вер. Странно, что Нора не хочет учиться, институт бросила. Странно, что ей все время хочется от них сбежать. Если бы мои родители так дружили, я бы...

Вот ведь вроде мы близки с Норкой, она у нас с Сашей свидетельницей на свадьбе была. Но с ней невозможно ни о чем договориться. Она никогда не приходит вовремя, а я это ненавижу. Представляешь, звонит: «Сонька, давай встретимся, побудем вдвоем, а? Буду тебя ждать у „Художественного“ в шесть».

Она будет ждать! Как же! Так я и поверила!

Естественно, без десяти шесть я уже, как дура, на месте. Опоздать не могу. Даже если позже выйду, все равно буду вовремя, как будто черт дороги сокращает. А это потому, что я – человек слова. А Нора ни от чего не зависит. И жди ее, хоть обождись.

Стою и злюсь уже всерьез. Вот не сойду с места, пока не явится. Идет. Еле-еле. Половина восьмого. Подходит, улыбается, слегка шмыгает носом. Разворачиваюсь и ухожу. Ненавижу эти штучки!

...Но без Норы она скучала. Соня находила в подруге что-то особенное, такое, чего не было больше ни в ком, – некий шарм, изюминку. Нора будто плыла через жизнь, отдыхая и получая от всего удовольствие. Вкусно пахнет, она носиком поведет медленно, запах впустит постепенно, глаза прикроет, головой покачает, смакует. Соню эти манипуляции завораживали. Она не могла оторвать от Норы глаз, и ей хотелось уметь так же. Нора никогда не спешила, рядом с ней вообще не бывало суеты. А интересной публики всегда полно. Все очень начитанные, почти все что-то писали сами. Нора устраивала литературные четверги, но Соня на них не бывала. Находясь в шумной компании, она информацию воспринимала с трудом и предпочитала повидаться потом с Норой и еще кем-то, кто ей интересен. Если бы Соня могла себе в этом признаться, то с удивлением узнала бы, что все эти люди ей не нужны. Ей была нужна именно Нора. Соня любила свою подругу и каждый раз прощала.

– Я не умею долго злиться. Если довести, то могу, конечно, долбануть хвостом по глазам. Больше всего меня выводит, если люди специально пакостничают друг другу. Но ты же знаешь, я быстро отхожу. Да ладно тебе, Норка, проехали. Вот мне другое странно. Почему все так носятся с сексом? Не понимаю, что в нем такого улётного. И почему, если кто-то с кем-то переспал, то это значит – изменил?

... – Саш, я считаю, что секс должен быть свободным. Ты можешь спать, с кем хочешь. Все равно же ты любишь меня, это точно. Сам увидишь, дома-таки лучше.

Они решили попробовать любовь втроем. И была бутылочка легкого вина, музыка, вечер. Позы, подсмотренные в старом, затертом журнале. Хохотали потом до слез.

– Ну и как тебе, Саш? По-моему, фигня. Просто театр. Норка тоже говорит, что теперь точно знает – занятие не для нее. Но мы молодцы! Все гадают, а мы попробовали!..

– Сашка, покажи фотографии. Слушай, какая у Норы попка классная! Норка, тебе нравится? Мы с Сашкой сделаем ее в рамочку и на стенку повесим.

– Ребята, я прошу вас, только не это! Меня все знают...

Ну? Кто бы еще так ответил?! Нора казалась Соне неподражаемой. И хоть они и не смогли, гуляя ночью по Суворовскому бульвару, притронуться к дохлой кошке, чтобы поклясться в вечной дружбе, но Соня была уверена: их не разлучить.

– Саш, скажи предкам, я в деревню не поеду. Очень надо единственный месяц в году проводить в этой тьмутаракани. Вот и очень хорошо, что там родня. Вот пусть сами к своей родне и едут. А мы с тобой поедем на юг. В Геленджик! Меня Тина маленькую туда почти каждый год возила. Будем купаться, загорать и радоваться жизни. Моя гинекологиня сказала, чтобы я не слушала тех врачей из больницы. Наговорили: «Инфантильная матка, гормональная недостаточность, перекрученные трубы, бесплодие – под вопросом!»! А она сказала, что у нас дети будут, вот съездим на юг, погреемся на песочке, и все будет тип-топ.

А ты знаешь, какая я маленькая родилась? Представь, всего два килограмма, сорок четыре сантиметра. Да и то бедная мама еле справилась. И голова у меня потом была на один бок вытянута. Ты знаешь эту историю? Как не рассказывала? Не может быть!

У Тины была мать, ее звали Степанида. Она умерла, когда мне было три года. Тетка говорила, что баба Степа Тину от барина родила.

Степанида была красавица редкая, это мама рассказывала. Ну и вроде из-за того, что Тину нагуляла, ей пришлось дочку сослать в город совсем маленькой, и Тина ей потом всю жизнь простить не могла. А сама баба Степа все время молилась. Понятия не имею, как получилось, но Тина ее все-таки забрала к себе в конце концов. Только любви и дружбы у них не вышло, мне папенька рассказывал. Жили как чужие.

Подвинься чуть-чуть, я лягу поудобнее. Да, успокоилась. Рассказывать?

Смотри. Степанида жилье в теплой квартире считала за счастье. Потом у нее появился свой угол, где она никому не мешала. Не в комнате, а за ширмой в коридоре, рядом с тем самым сундуком, на котором я маленькой играла в учителя и врача. Нет, ну как же это все удивительно! Ничего из тех лет не помню, только ее! Вижу как сейчас: сухая старушка в черном молится перед иконами в углу. Но Степаниде не разрешалось оставаться со мной, после того что она сделала.

Понимаешь, я с самого начала была не то что надо. Я родилась очень уродливой. Мама, которая ждала сына, увидела, что родилось, и разрыдалась: «Я хотела мальчика, а если девочка, то зачем такая паршивенькая? Ее никто замуж не возьмет!» Эту историю они мне оба, и мама, и папенька, взахлеб рассказывали. Вот на что надеялись? Порадовать хотели?

Роды были тяжелыми, что-то там сразу пошло не так. Потом из-за кривой головы меня постоянно укладывали на один бок. Наверно, мне было неудобно, и я все время плакала – так они говорили.

Когда мне исполнился месяц, родители приехали к Тине и взяли с собой меня. Пришли гости. Мама меня грудью не кормила, поэтому выходила вместе со всеми на кухню курить. В один из таких перекуров ей вдруг стало тревожно, я хорошо помню, как она мне об этом рассказывала. Она бросила папиросу и побежала в комнату. Когда вошла, увидела Степаниду, согнувшуюся над диваном, где в подушках лежала я. Степанида на стук двери распрямилась, мелко крестясь и приговаривая: «Ну и слава Тебе, Господи, ну и слава Тебе, Господи...» Мама подошла, посмотрела на меня и закричала.

Естественно, прибежал папенька. Ты представь, что они увидели! Моя голова стала ровной, затылок – едва округлым, и я спокойно спала носом вверх. Маме и Тине стало страшно до ужаса! Что сделала с ребенком слепая, неграмотная старуха? А вдруг что-то повредила в голове? Ты понимаешь, ведь это все-таки мозг! И без того страшенький ребенок родился, а теперь и вовсе непонятно, чего ждать. Маму трясло, Тина орала и чуть не побила Степаниду. Папенька изо всех сил старался их унять, но и он чувствовал себя не в своей тарелке. Изменить руками форму головы месячного ребенка! Это все равно что перелепить уже обожженный кувшин! Никто не мог этого объяснить.

Степаниду изгнали в коридор и запретили ко мне подходить. Она молчала, а Тина обзывала ее чертовой богомолкой и маму успокаивала, как могла.

Степанида умерла, когда мне было три года. Мы с Тиной тогда отдыхали на юге. Вот этого не понимаю, но проститься с матерью она не поехала, сказала: «Потратить столько денег, чтоб потом вернуться обратно! Таскать туда-сюда ребенка!» Даже маленькой слушать эти истории про деньги мне было странно, хотя я и не знала почему. Но позже я выяснила дату смерти Степаниды. Она умерла в августе. А мы уехали на юг в мае. Деньги, значит, ни при чем. Тина в принципе не захотела приехать. По-моему, это что-то чудовищное.

Все связанное со Степанидой в нашем доме было под секретом. Мама только однажды рассказала мне эту историю, а после, когда я хотела уточнить, отнекивалась и просила при Тине об этом не говорить. Мама боялась Тину и не смела перечить. Что Тина умела мастерски – так это нервы трепать.

Саш, ты спишь? Интересно? Я тихо говорю, потому что мне уютно. Вот тебе не угодишь, то «успокойся», то «слишком тихо»...

Правда, быстро отпуск прошел? Тина говорит, так вся жизнь проходит. Но я не буду ее слушать. Ноябрь. Противное все-таки время года.

... – Как-то странно я себя чувствую. Что это такое? Нет, Верка, меня не тошнит. И ни на какое соленькое не тянет. Я себя чувствую как... Черт. Как будто я – важная. Понимаешь? Как будто я что-то значу... особенное. Вер, а помнишь, как твоя мама и моя бабушка нас вместе на бульваре выгуливали? Мне всегда очень нравилось у тебя дома, твои родители такими дружными были, одно удовольствие посмотреть. Мне кажется, семья вот такой и должна быть,

как у вас. Или как у Норы моей. И книг у вас всегда было множество, молодцом был твой папа. И тепло... Вер, тебе Норка нравится? Интересная она, правда? Ладно, схожу к врачу.

– Саш, ужинать будешь? Что? Вера и Нора вместе шли по переулку? Но я сегодня видела Веру, она мне не говорила, что они без меня общаются. Неприятно. Что «не обращай внимания»? А зачем скрывать? Не люблю, когда из меня дуру делают. Ну и пусть себе гуляют обе. Но без меня. Тоже мне тайны мадридского двора!

На Нору Соня обиделась смертельно и говорить с ней не захотела, а Вере позвонила немедленно. Несмотря на давнее общение, Вера понятия не имела о многих подробностях Сониной жизни, да и Соня в ту пору еще не осмыслила ни своего детства, ни более поздних времен. Она бы и сама не смогла объяснить, что именно так оскорбило ее. Она еще не улавливала связей между своим «сегодня» и своим «вчера» и не понимала, что, соединив два интеллекта, два широких кругозора, Вера и Нора до боли напомнили Соне то чувство, которое она испытывала, когда ребенком находилась в семье отца. «Они так много знали, у них столько тем, чтобы поговорить друг с другом, они разбирались в литературе, в музыке, они были такие, такие...» Не отдавая себе отчета, Соня снова почувствовала свою извечную неуместность. Но на сей раз это были не Берги, с которыми ребенком она не смела открыть рта. Ошеломленной и даже отдаленно не догадывающейся об истинных причинах такого негодования Вере Соня выразила бурный протест. Подруги перестали общаться.

– Саш, у меня для тебя сюрприз. Угадай какой. Нет, не кушать. Не украшаться. Не, не мебель. Не для работы. Ну... да, носить. Нет, не в руках. И не в карманах. Ну, говорю же, не на голову, и не на ноги, и не на спину. Не кофта и не пиджак. И не шарф. Ну, подумай еще, а?

Ну и пожалуйста. Ну и буду сама носить. Еще семь месяцев!

– Ну что? Видели, какая девочка? Правда, красавица? Щечки розовые, локоны на плечах! Она похожа на цветочек, и мы назвали ее Маргаритой. А дома зовем Риташа. Вот оно – счастье!

... – Молока полно, а она не ест. Перегорит. Господи, как же больно. Лучше сто раз родить. Честное слово. Что женщины приятно находят в кормлении? Молоко не идет, ребенок орет, вся грудь в буграх. Саш, Тина говорит, это не страшно, если она будет на искусственном вскармливании. Я же выросла, и она вырастет.

– Наконец-то. Наконец-то позади этот чертов институт. Ну, ни уму, ни сердцу. Саш, а тебе твоя работа нравится? А вот та, на которую тебя не взяли, была бы лучше, правда? За границу бы ездил... Но у твоей жены отец еврей. И никакого значения не имеет, что мои родители разошлись, когда мне всего два года было. Армия есть армия, и тому, кто женат на еврейской морде, за границей делать нечего. Сашк, а хочешь, я тебе сына рожу? Я всегда мечтала о дочери и о сыне, и теперь знаю, что и мальчик у меня будет обязательно. Потому что во мне есть все, я гармоничная!

– Ты там как, Некто-Во-Чреве? Вот уже и пупок, как звонок на двери, наружу. Бип. Пора.

... – Сашка, ты счастлив? Ты напился с папенькой и не пришел в роддом, а я одна из всех родила мальчика. Ко всем пришли, а ко мне нет. Буду теперь тебя этим всю жизнь доставать. Но я не обижаюсь, это же ты от счастья...

– Вот вам пожалуйста и «инфантильная матка», придурки вы все.

– Наши дети. Какое это чудо! Саш, я никогда не видела, как мальчики писают, сегодня первый раз увидела, так даже завопила! Представляешь – вбок! Через решетку кровати – на пол! Ну что ты смеешься? А Тина на него смотрит, как на диковинку. Ну конечно, у нее же не было мальчика! Правда, мы его здорово назвали? Никита, Кит... Прямо как у Флер Форсайт. Ну да, у меня «Сага» – любимая книга. Там есть обо всем, что мне нужно. Саш, а девочки говорят, что я от счастья похожа на идиотку. Похожа? Ну, ты даешь!

Как же классно! Дети спят, а у нас друзей полон дом, как раньше. Видишь, я все успеваю! Кругом чистота, красота и полно еды.

Никто не верит, что эту рубашку я тебе сама сшила. Ну и чем твои опять недовольны? А, да и ладно, перебьются.

– Чертова коммуналка. Тащи ванну через весь коридор в комнату, ставь ее на стулья, да поустойчивее, и воду – ведрами. Пока носишь, остывает. Рядом чайник с кипятком держать надо, подливать. Но зато у нас комнаты большие, Саш, правда?

Только вот раньше можно было детскую ванночку в большую ванну ставить и мыть ребеночка. А теперь у нас вся окрестная пьянь моется. Ужас вообще!

В Сониной квартире было восемь комнат. Прежде в них жили одинокие пожилые дамы, носившие чепцы с ленточками, обращавшиеся к своим соседям на «вы» и завораживавшие маленькую Соню изяществом жестов и речи. Одна за другой они умерли, и квартиру заселили многодетные семьи, которые, впрочем, подолгу не задерживались, а, родив еще одного-двух детишек, получали новую жилплощадь и переезжали. Наконец всего три семьи остались на большой коммунальной кухне. Одна семья была интеллигентной и уравновешенной, вторая же – полная ей противоположность – состояла из четырех человек: приехавшей в Москву из Белоруссии Алеси, ее двух мужей и ребенка от первого брака. Третьей семьей были Гуртовы – Саша, Соня и дети.

Возраст у всех взрослых жильцов примерно одинаковый, и поначалу они вместе праздновали свои даты, приглашали друг друга на вечеринки и сосуществовали весело и мирно. Так длилось до тех пор, пока первый муж Алеси Иван не начал стремительно спиваться. Его положили в больницу на принудительное лечение – на год, за это время жена его свой брак с ним расторгла и вышла замуж второй раз за только что въехавшего вместо одного из многодетных семейств Семена, который тоже оказался пьющим. Алеся с первым мужем не пила, а со вторым не сдержалась. Вскоре маленький Витя оказался в интернате, а в дружную и спокойную прежде квартиру зачастила публика определенная – шумная и нетрезвая.

Теперь соседи оставшихся двух семей находились постоянно настороже. Пьющих запойно, но никого не задирающих Алесю и Сеню терпели. Но вернулся обратно Иван, не излечившийся, а, наоборот, пристрастившийся пить из аптечных пузырьков спиртовые настои, которые отпускались без рецепта. Бывшая жена и новый сосед открыли ему свои объятия, и он поселился вместе с ними на своей и Алесиной жилплощади, а комнату Семена стали сдавать – когда на сутки, когда на ночь – парочкам и компаниям, которые нестираного постельного белья не гнушались. В квартире начался невиданный хаос.

– Ребята, у меня проблема! Вот зараза, дожили! Сенька рухнул в коридоре, затрясся, пена изо рта. Я так испугалась! Алеся повизгивает: «Засуньте ему нож между зубов!», а сама ни с места и лыка не вяжет. Где я в коридоре возьму нож? Засунула язычок для обуви. Спиной закрыла Сеньку от Кита – он сидел на лавочке в коридоре, – чтобы ребенок не испугался, у Сеньки же все тело выгибается! А у самой руки тряслись. Ну вот что теперь делать?!

– Час от часу не легче! У него еще и туберкулез в открытой форме! Саш, зови всех на вече! Уезжать отсюда надо, пока дети не заразились.

На двери ванной висел лист бумаги с графиком посещений для «крупной стирки и серьезного мытья». Соседи составили этот график из-за детей и соблюдали его, отступая по времени в обе стороны незначительно. Но теперь все графики были нарушены, и в то самое время, которое всегда считалось «детским», Соне приходилось напрасно ждать, когда ванная освободится. Там, визжа и хохоча на всю квартиру, плескались Алесины постояльцы. Слушая из коридора эти звуки, Соня в конце концов потеряла терпение.

– Я тебя предупреждаю, – сказала она Алесе, – что, если твои шлюхи будут у нас мыться, тебе не поздоровится. Я в этой ванне купаю детей!

– Это твоим детям не поздоровится, если ты моих друзей в покое не оставишь! – ответила Алеся, и Соня с размаху ударила ее по лицу.

– Детям не поздоровится?!

Это была первая драка в ее жизни. Одурев от смелости, она жестоко, по-бабьи трепала Алесю, и Саша с Семеном еле их растащили, при этом победа явно оказалась на Сониной стороне. Она гордилась собой, Саша, всегда выбиравший мир, негодовал, а Семен, успокаивая жену, поглядывал на соседку с уважением.

– Гады. Ты вот вечно все «миром-миром»! А с ними нельзя миром, Саш! Это же мразь! всю местную пьянь привечают. Не квартира, а помойка. Дверь не закрывается, разве можно так жить? А какая вонь! Нет, надо что-то срочно делать!

Чтобы найти выход, Соня просила о помощи всех: своего отца, родителей Саши, знакомых, которые могли знать «лазейки» для решения подобных вопросов. Отец Сони разводил руками, свекор, собрав все возможные документы, ходил по инстанциям, а жизнь их детей по-прежнему кипела.

...В тот день они шли навстречу друг другу по своему переулку, в котором так давно не встречались, и Соня восхищенно улыбалась, глядя на Верин живот:

– Верка, родная!!! Ты вышла замуж? Нет? А рожать скоро?

И Вера рассказала, как после истории с Норой даже не ждала, что Соня ей позвонит. Вера недоумевала, что именно Соню так задело. Ни о чем они с Норой специально не договаривались и ничего намеренно не скрывали. Своим молчанием Вера скорее оберегала спокойствие подруги, так ей тогда казалось. Ей не было дела до интриг. Вскоре она и вовсе перестала вспоминать об этом случае – в жизни появилось кое-что поважнее.

Это была любовь. Вера еще очень молода, и ее любимый тоже молод. Он талантлив, он красив, он конечно же лучше всех! Это была эйфория, нескончаемая песня, и если у Веры появлялись в тот период мысли о будущем, они ни на что не влияли. Поэтому, когда влюбленные узнали, что будет малыш, оба растерялись. Для Веры это означало только одно. Она как-то сразу – всей собой – ощутила, что уже любит своего ребенка и что жизнь теперь изменится. Но по едва уловимым жестам, по случайно подсмотренному недоумению, которое мелькало на лице любимого, Вера догадалась, что он к серьезному решению не готов. И тогда она его отпустила. Они решили не испытывать чувств и не рисковать, а, как говорил Фазиль Искандер, «расстаться, пока хорошие». Никогда после Верина дочь не слышала ни одного плохого слова о своем отце. Да и не было в Вериней душе ни обиды, ни упрека. Она любила его, безумно любила их ребенка и смотрела вперед.

Вряд ли кто-нибудь поверил, если бы Вера рассказала о том, как благословила вослед свою уходящую любовь, как ни разу не испытала горечи, вспоминая об отце своего будущего ребенка. Но Соня поверила сразу.

– Какая ты молодец, Вер! Во всем молодец! Я бы тоже так сделала! Да, почти пять лет прошло. Дома напротив, а мы так ни разу и не пересеклись! Ой, как же я рада, что тебя встретила, и ты такая красивая, глаз не оторвать! А Нора как? Не общаешься больше? Интересно, как она... Да нет, не скучаю. Но вспоминаю часто. Я бы на нее посмотрела. Приходи ко мне сегодня! Нет, не приходи, у нас в квартире туберкулез! Я сама к тебе приду. С гитарой! И новую песню спою, тебе понравится, точно!

«...Из деловитого предместья он превратился в маскарад. Но вспомним мы, собравшись вместе, что был иным седой Арбат. Аптеку помнишь на углу? Бульвар прибор бросал в изножье... И пирожков слоеных вкус, их дух забыть не сможешь тоже. Где „Прага“ правила приемы, друг другу всякий был знаком... И церемонные поклоны донине помнит каждый дом... И были жители одеты не по сезону всякий раз, но, веря в данные обеты, не продавали самоцветы, не выставляли напоказ. Там было изобилье света и изобилье доброты... В витринах разные конфеты сплетались в дивные цветы. За ручку шли и ты, и я, все наши мамы успевали... Не доставали, отстояв, а просто, сбегав, покупали. Да, мы на щедрости взошли! И это славный был десяток, что от конца сороковых и до конца пятидесятых... Живою силой в наших жилах кровь победителей текла... И коммунальные квартиры толкали нас, одеждой сырых, на вдох-

новенные дела. И избегали многоточий отцы, привыкши напрямик. Рассказ отца – первоисточник, и память матери – родник. Не знали ни чинов, ни сана, но каждый каждому был брат... Герои моего романа рождались у Грауэрмана, и их воспитывал Арбат. Вовек то время будет свято, где каждый в дело был влюблен, где тек рекой Арбат Булата, впадая в океан времен...»

Эта «аптека на углу» – та самая, которой когда-то в опасные времена заведовала Верина бабушка, с риском для жизни помогая людям. Рассказы родителей... Детская вера в несокрушимость державы... Приподнимающие шляпу встречные соседи... Скромность и сдержанность манер... И, конечно же, слоеные пирожки из стоячей закуской рядом с рестораном «Прага» – что могло быть вкуснее?

Вместе с песней об Арбате подруга вернулась в жизнь Веры окончательно.

А в Сонином доме гремела музыка.

– Ребята, давайте все сегодня к нам, у нас классное вино. Саперави! Прямо из Грузии знакомые привезли. Будем кутить до утра! Я на гитаре струны поменяла, звучит – блеск! Ничего не надо приносить, все приготовлю сама!

– Саш, ну что ты, ей-богу? Нет у меня ни с кем. Ну и что, что я всех твоих женщин знаю, а ты – никого? Я – это я. Сашка, ну неужели ты думаешь, что я буду с тобой на эту тему распространяться? Да никогда. Говорила ведь уже, что вообще не понимаю, почему если кто-то с кем-то переспал, то это значит «изменил». Чушь, по-моему, собачья. Вот ты почти со всеми моими подругами переспал. И что? Меньше меня любишь? Нет, Саш, лично мне ты ни разу не изменил! И я тебе не изменяю. Это все пустое. Так что не приставай.

... – Пап, ну как ты? Как дела? Почему редко звоню? А как Света? У нас нормально все. Да, я постараюсь приехать на той неделе. Да, предупрежу. Ладно, давай. Ну что ты опять прицепился? Что «давай», кому «давай». Никакие не слова-паразиты. Все, пока.

... – Саш, ну почему он все время со мной задирается и никогда не может по-человечески?

Дом для Сони был свят. Она тщательно следила за тем, чтобы в нем сохранялась бесценная атмосфера, созданная когда-то мамой, заставляющая заглянувших однажды возвращаться снова и снова. Теперь к Соне тянулись, она легко сходилась с людьми, и страстно доказывала тем, кто ее слушал, все то, во что верила. Время от времени объекты веры менялись. Тогда она спокойно признавалась в том, что взгляды стали другими, объясняя почему.

– Брось. Мы же не дети. Уже по тридцатнику скоро. Да, я раньше думала, мужчины и женщины одинаковы. Нет, моя дорогая. Разные мы звери совсем. Но женщиной быть лучше. Я жалела, что я не мужик? Значит, дура была. И всего-то. Хочешь, я тебе погадаю? Ну как хочешь. Тогда я себе погадаю. Вот видишь, это у меня прибыль будет. Точно, будут деньги. А вот это – заболит кто-то.

... – Саш, как хорошо-то! Я деньги нагадала, и вот – премия! Но кто-то еще заболит? Не дай бог, дети. Да, я в курсе, что много курю. Не гуди и не порть мне настроение. Что вот ты, как старый дед, хренствуешь?

Ее завораживали рождения и похороны. Она практически всегда правильно определяла пол будущего ребенка, а если кому-то из стариков предстояло в ближайшем времени умереть, Соня знала это раньше, чем самые чуткие из них начинали слышать звон колокольчика, оповещающего об окончании земного срока. В общении с друзьями ей порой казалось, что она наводит тень на плетень, несет отсебятину, потому что те выводы, которые делала, не были продиктованы ни наблюдениями, ни опытом. Они вообще не имели отношения к здравому смыслу. Тем сильнее Соня удивлялась, когда у собеседника широко открывались глаза, и он спрашивал: «Откуда ты знаешь?»

– Саш, я же тебе говорила, и вот! Тина сломала ключицу. Теперь к ней не набегаюсь. Хорошо, что мы на одном этаже живем, а то бы труба. Вот точно карты показали, а ты все мне не доверяешь.

ным в себе. Вновь и вновь она доказывала свое право на жизнь всем, кто ее окружал, и прежде всего – себе самой.

– Риташа, ну как ты сегодня, доченька? Пятерку? Какая ты умница! А я тебе приготовила новую книгу. Я очень ее люблю, она называется «Дорога уходит вдаль» Александры Бруштейн. Повтори фамилию. Нет, Бруштейн. Это важно помнить имена авторов, понимаешь, малыш? Знаешь, сколько раз я выглядела глупо, когда не знала, кто автор книги или стихотворения? Не хочу, чтобы так было с тобой! Сегодня вечером будем вместе читать. Договорились?

... – Школа, Саш! Ну какой же кошмар! И как я могла туда хотеть? Все орут, все несутся! Никогда и ни за что не стала бы работать в школе! Да и вообще. Я не понимаю. Мало своих детей, чтобы каждый день терпеть рядом такую ораву? Или мало в жизни других работ?

... – Москва, Москва, Москва. Обожаю наши переулочки в самом центре! С каждым домом, с каждым двором связана своя история! И пение из музыкальной школы, и музыка из окон. Если бы мама могла видеть, какой я стала... Саш, а какая я?

... – Верка!!! Что же мне делать с этим туберкулезником? Ему предлагают однокомнатную, а он, козел, не едет. Естественно, там же не будет его дружков, всей этой пьяни!

Квартира действительно сотрясалась в пьяном разгуле. Делая в слове «малина» ударение на последнюю букву, белокурая, прежде розовощекая, а теперь бледная, но все еще хорошенькая Алеся распевала частушки и отплясывала: «Под горой-то малина, на горе черешня, меня хлопцы любят все, хоть я не яешня!» – разносилось по переулку, и оба мужа радостно ей подпевали, топая в пол ногами изо всех сил: «Прихожу домой я в силе, а милашка кверху килем! Гоп, гоп, гоп, гоп, подымаю перископ!» Далеко за полночь они веселились так безудержно, что соседи вызывали милицию, гуляк усмиряли, но вскоре все повторялось.

Приступы эпилепсии у Семена учащались. Соня уже не пугалась, но помогала, матерясь. Ситуация по-прежнему не менялась, приходилось стучать во все двери.

Две комнаты, в которых жили Гуртовы, слишком большие, чтобы стать очередниками, льгот никаких, и шансов, казалось, тоже. Сосед падал в очередном припадке «в местах общего пользования», мочился и пускал пену изо рта.

Сашины родители были согласны на то, чтобы дети вчетвером переехали к ним. Но Соня была категорически против этой затеи: с «предками» она не уживалась. Алевтина, с которой внучка по-прежнему постоянно ссорилась, приходила из своей квартиры с личной шваброй и намывала хлоркой коридоры. Осип ничего не советовал и ничем не мог помочь. Неожиданно спасительный выход нашла жена его младшего брата Ада: чтобы избавиться от коммуналки, Соне нужно съехаться с матерью отца – ее второй бабушкой Эстер.

Бабушку Тэру Соня по-прежнему называла на «вы» и видела очень редко.

– Вера! Ей уже 87 лет, и она живет одна, со всем справляется! Папенька к ней раз в неделю ездит, картошку возит. Нет, там маленькая коммуналка где-то за Павелецким. По-моему, это выселки. Ну что ты, она очень сохранна! Поет до сих пор, и голос не дребезжит. Вообще она молодец. Знаешь, какое у нее любимое слово? «Мэрд»! Ну да, дерьмо, ты же французский учила. Это у нее как «Господи, благослови». А когда что-то происходит, то она говорит «Плевать!». Чем круче происходит, тем веселее она это говорит. Я никогда ее не видела без прически и без перстней. Представляешь? Ну у нее и волосы, конечно, моим не чета. У меня папенькины... А у нее волосы раньше были черными, а теперь она подкрашивает их сиреневым. Вообрази, она берет прядь, крутит на палец, потом палец вынимает, а локон так и остается! Если она переезжает, то первое, что упаковывает – портрет моего деда. Представляешь, я слышала, она хочет, чтобы этот портрет похоронили вместе с ней! Когда я прихожу, она всегда мне рассказывает, как ее любят сыновья...

Сыновья Эстер – старший Осип, Сонин отец, красивый, атлетического сложения, уверенный в себе, горячий и импульсивный. И младший, Эммануил, Сонин дядя, – респектабельный, коренастый, устойчивый.

Ося с молчаливой и покладистой женой Светой жили в двухкомнатной квартире недалеко от «Новокузнецкой», а Эмма с общительной и артистичной Аделью – у Патриарших в четырехкомнатной. Ося считал, что его брат должен взять Тэру к себе.

– Неужели ты не понимаешь? – Он нервничал страшно. – У них большая квартира! Это не то что у нас, две малюсенькие комнатки без дверей!

– Но у нас нет другого выхода, здоровье детей под угрозой! – возражала Соня, обижаясь на то, что отец совсем не думает о ней.

– И потом, перемены стереотипов в таком возрасте очень опасны. Я считаю, что маме не надо никуда переезжать! – не слушал доводов и, казалось, попросту не замечал присутствия дочери отец.

Но его мнением пренебрегли.

Однажды вечером Ада и Эмма навестили племянницу и ее семью. Высокие, дородные, они сразу заполнили собой пространство столовой и, не тратя попусту времени, выложили свой план.

– Соня, ты знаешь, что Андропов поднимает авторитет ветеранов? – начала Адель торжественно. – Я составила текст письма на его имя. От бабушки. Мы пишем, что она, старая большевичка и жена репрессированного коммуниста, теперь слаба и одинока и что единственный человек, способный обеспечить ей уход, который она всей своей жизнью на благо Родины заслужила, – это ты, ее внучка. Мы просим дать вам всего-то трехкомнатную квартиру вместо твоих двух комнат и одной бабушкиной.

– Тетя Ада, думаете, получится? – Соня почуяла выход и подобралась.

– Саш, неужели получится? Я чувствую, что получится! И у нас будет своя квартира, Сашка, ты представляешь, своя!

... – Вера, нам ответили! Только месяц прошел, а уже приглашают смотреть квартиру. Ну да, трехкомнатная. На пятерых. Да ладно тебе, все равно нам большего бы не дали, даже это удивительно!

... – Пап, я посмотрела квартиру. Такая хорошенькая! Мы соглашаемся! Господи, ну что мама твоя, что? Я что ее, съем? Я за ней ухаживать буду! Ты подумай о нас, папа!

Соня согласилась на первую же квартиру в спальном районе, которую им предложили. Ада и Эмма обменялись поздравлениями с родителями Саши, Осип чувствовал себя обиженным, а Тина пребывала в тяжком унынии. Ее внучка, которую она растила с младенчества и так любила, уезжала, чтобы съехаться с Эстер.

– Верка, дорогая! Неужели это все происходит со мной? Неужели это я уезжаю в кабине огромного грузовика к черту на рога, как и большинство жителей самой середочки нашей столицы? – Соня плакала и сморкалась, пряча лицо от водителя. Она смотрела в окна домов, мимо которых ползла машина, и мысленно разговаривала с любимой подругой. Ей было тридцать лет, и она думала, что жизнь кончилась. А в небе над переулком сияла огромная радуга.

Через полгода после отъезда Гуртовых бывшие соседи снова праздновали что-то ведомое только им троим, попивая, как обычно, из аптечных флакончиков. Вечером этого дня Семен с Иваном уехали на заработки. Проводив мужей, Алеся кое-как помыла на кухне тарелки и ушла в свою комнату отдохнуть. Через три дня соседка, озаботившись тем, что Алеся не подходит к телефону, заглянула к ней в дверь и увидела страшную картину. Мертвая Алеся сидела на диване прямо напротив двери. Рот и глаза ее были открыты, обнаженные части тела покрылись пятнами.

Сын Алеси остался в интернате, Иван уехал к матери. Семен продолжал пить и через некоторое время умер. Чуть позже в пьяной разборке убили Ивана. Вспоминая о соседях, Соня преисполнялась праведного негодования и называла их не иначе, как «эта пьянь».

На новой квартире Гуртовы обжились достаточно быстро. Эстер дала им месяц для обустройства, а потом въехала и поселилась – независимая и самодостаточная. Соня с удовольствием общалась со своей бабушкой и слушала ее рассказы, даже хвасталась и гордилась ею, но уговорить жить по своему укладу не смогла. Эстер сама устанавливала распорядок дня и не хотела, чтобы ее опекали. Новая квартира начала пахнуть коммуналкой.

– Саш, ну чего ей не хватает, а? Все для нее. И приготовлю, и подам, и уберу. И в комнату к ней мы не ходим. И по утрам не шумим, пока спит. А ведь нам нужно будет на зиму Тину к себе забрать. Она одна не справится. Саш, тебе трудно?

– Нет, мамица, нет. Я работаю, с детьми занимаюсь, это ты у нас такая аванпостная. Ты хоть за меня не переживай.

Едва похолодало, Соня действительно перевезла бабушку к себе. Полнотелая Алевтина, надев теплую одежду, утрачивала способность передвигаться, поэтому зимой не выходила на улицу и купить продукты себе не могла. С ее переездом жизнь семьи резко усложнилась. Тина никогда не любила Эстер, и теперь, оказавшись в замкнутом пространстве стандартной трехкомнатной квартиры, она давала наконец выход эмоциям, скопившимся за жизнь. Доставалось и Соне.

– Что это ты ей позволяешь делать что хочет? – начинала Тина с раннего утра. Она рассказывалась на кухне и ела. Внушительный живот и огромная грудь не позволяли ей подвинуться близко к столу, до которого старая женщина едва дотягивалась недлинными своими руками. – Что это, что все завтракают, а для нее закон не писан? Королева тоже мне, видали, голубая кровь!

Про себя Соня действительно называла Эстер «вдовствующей королевой», но слышать эти слова от Тины было неприятно. Она могла сердиться на кого-то одна, но не любила, если кто-то подстрекал к ссоре. На самом деле ее бы больше устроило, если бы завтрак проходил для всех членов семьи в одно и то же время. Тогда Соня могла бы спокойно готовить на кухне и отдыхать от суеты. Ворчание бабушки разжигало ее недовольство тем, что Эстер вела себя, как если бы продолжала жить одна.

– Не цепляй ты никого, Тина, прошу тебя, – сначала сдерживаясь, отвечала Соня.

– Я никого не цепляю, Сонечка, это она! Что это, что она издевается над тобой?

– Сиди и ешь, никто надо мной не издевается! – Соня начинала «выходить из берегов». – По тебе вон, как по трамплину, вся еда на пол катится, а я только что все вымыла. Ешь молча!

Величественно вплывала Эстер. Причесанная, как для приема, в платье, украшенном брошкой, она горделиво несла свою седовласую голову и смотрела доброжелательно.

– Всем доброго утра! – приветствовала она, придерживаясь, чтобы не упасть, за стену. – Тут еще занято? Тогда я буду завтракать позже. Ты не возражаешь, Сонечка?

– А мы тебе не компания! – с места в карьер бросалась Тина в атаку. – Да и нам только лучше, мы люди негордые!

– Тина, прекрати! – не могла смолчать Соня.

Тина молчать не хотела тоже. Но и Эстер не робкого десятка. Начинился скандал.

– Это ты мою Берточку угробила! – вопила Тина. – Это тебе она все время нехороша была!

– Что ты хочешь от меня?! – интеллигентно защищалась Эстер.

Соня орала на обеих бабушек, они на нее, а Саша жалел свою жену, молчал и старался отвлечь детей.

– Вер, ты представляешь, – жаловалась Соня подруге, – я вообще не понимаю, как Сашка все это терпит! Баба Тэра, ей тоже палец в рот не клади, но Тина вообще беспредельщица!

Давным-давно, еще в лагере Эстер сделали операцию, и она что-то рассказывала о влюбленном в нее враче, но Соня в подробности не вникала, витая в своих мыслях. Чем болела ее

бабушка, в то ли время был удален у нее сфинктер прямой кишки, Соня тогда не поняла. Ясно было одно: после лагеря Эстер осталась инвалидом.

Тому, что во вторую ее бабушку кто-то влюблен, внучка не удивлялась. Даже в свои немислимые годы Эстер была красавицей, держалась превосходно, мыслила ясно, легко переходила на французский, потом на идиш и обратно, часто напевала и любила выпить рюмочку коньяку. Но из-за возраста и тучности она плохо двигалась, многое давалось с трудом. Если же ей случалось хоть немного нарушить диету, последствия немедленно оказывались на паласах, стенах и стульях. Высокая, грандиозная, Эстер имела сороковой размер ноги. Она уже плохо согревалась и дома ходила в обрезанных валенках на три размера больше. Этими огромными валенками Эстер втирала в паласы то, что обронило ее искалеченное тело. Всю жизнь эта женщина была горда и независима, пыталась справиться и с этим, но не удавалось – спина сгибалась с трудом, глаза видели плохо.

Возвращаясь вечером с детьми, Соня не всегда могла войти в квартиру. Порой приходилось раздеваться в прихожей, переносить детей в одну из комнат и потом отмывать испачканные коридоры. В эти минуты Соня негодовала так же, как в детстве на Тину, вечно лишавшую ее покоя. Она не говорила обидных слов, только просила Эстер уйти в свою комнату, не смотреть, пока она все это мыла. Но Тина, понятия не имеющая о деликатности, была тут как тут, трещала как спортивный комментатор, и Соне становилось еще хуже. Ей казалось, что все вокруг живут по-человечески, и только она постоянно пребывает в каком-нибудь дерьме. «Точно, они обе меня переживут», – бубнила она, представляя себя в гробу, и получалось так явно, что приходилось немедленно думать о чем-нибудь другом.

– Саш, ну почему у других все как у людей? И мамы живы, помочь могут, и бабки не срут... Саш, как ты все это терпишь? Осточертели мы тебе все, да?

...Через два года Эстер умерла. Это произошло достаточно быстро, но она успела осознать, что уходит. Перед смертью из всей родни Эстер хотела видеть только Соню, успев показать этим, как рада тому, что смогла что-то сделать для своей единственной внучки.

Вместо традиционного реквиема на похоронах Осип заказал «Песню Сольвейг» Грига. «Так хотела мама», – плача, шепнул он и тем самым задал своей дочери задачу, ответ на которую она искала потом много лет. Это не стало навязчивой идеей, но галочку себе Соня в тот день поставила. Ей тоже хотелось найти для себя музыку, под которую она закажет себя отпеть.

Простившись с бабушкой, Соня думала, что научилась у Тэры жить легко, улыбаться, когда меч свиснет над загривком, и что теперь ей известно, какой может быть настоящая женщина. Но полюбить Эстер она не успела.

Наконец-то они одни! В это невозможно было поверить! Эстер умерла весной, Алевтина летом гостила у знакомых, до холодов далеко, и Соня задышала полной грудью.

– Вера, давай к нам! У нас сегодня куча народу! Давай с Машенькой, теперь-то есть где поиграть детям.

...В отличие от подруги, Вера выросла в интеллигентной семье с крепкими традициями. Окруженная вниманием, благополучная во всем, она чувствовала себя вполне счастливой. Теперь, с нежностью наблюдая за подругой, Вера понимала, насколько разные их «отправные точки», как отличался друг от друга тот «багаж», с которым они вступили в жизнь. На первый взгляд в Верином окружении было немало людей, более подходящих для дружбы и общения по воспитанию и кругозору, однако именно Соня стала самой близкой ее подругой. «Мы совершенно разные, – думала Вера. – И все-таки именно Соня – моя родная душа».

– Сашка! Сашка! Как же здорово! Правда, красивый у нас вид из окон? Обожаю закаты... Посмотри! Ну, это же чудо! Сашка, послушай, я наконец чувствую себя, понимаешь? Вот она – я. Я – есть!

Иногда Соня была не согласна с мужем категорически. Тогда она отворачивалась и не смотрела детям в глаза, но все равно принимала сторону Саши. Мир между родителями должен непременно вселить мир в сердца дочери и сына, это было твердым убеждением Сони.

Она не сомневалась, что уважает детей. Это не мешало отвесить кому-то из них подзатыльник, если этот «кто-то» выпадал за рамки того, что она считала нормой. При этом Соня не гневалась, проводила воспитательную беседу и тут же вовлекала ребенка в новую игру.

Она находилась в постоянном тоне и делала то, что считала правильным. Но перед отцом по-прежнему пасовала. Осип считал себя обязанным воспитывать взрослую дочь, он относился к ней критично, замечания его были едкими, уколы болезненными. Очень редко случались минуты, когда эти двое не ссорились. Тогда Соня думала, что очень любит своего папу. Иногда от этого возникал комок в горле. Она снова перечитывала отрывки из «Саги о Форсайтах» и откладывала ее повыше на полку.

Когда-то эта книга стояла в шкафу отца, и Соня однажды попросила ее подарить. Осип поставил условие:

– Получишь диплом, тогда я тебе ее подарю.

Настал день, когда Осип протянул дочери заветную книгу. «Сонечке в ознаменование важного рубежа в жизни – окончания института. На добрую память. Папа» – было написано на первой странице.

Соня читала «Сагу» раз тридцать, не меньше. Каждый раз, когда Сомс умирал, плакала в голос. Она очень любила Сомса, ведь он был таким прекрасным отцом!

С родителями Саши Соня по-прежнему общего языка не находила и считала, что она и «старики» – люди совершенно разные.

«Если бы мы были животными и нас поместили бы в зоопарк, точно держали бы в разных вольерах», – шутила с грустью. Ей бы хотелось, чтобы «предки» ее любили. Но этого не получалось. На фоне чинной свекрови и благообразной старшей невестки Ирины – жены Сергея – Соня была своего рода бельмом в глазу и чувствовала это.

Сергей, обаятельный и улыбочивый, был похож на конкурсного исполнителя заздравной песни. Крепкий, коренастый, как будто наэлектризованный, он обладал поразительной выносливостью и трудоспособностью. Мало кто видел его хмурым или недовольным, а если такое случалось, то было минутным и исчезало бесследно. Он все время учился. После института, как и планировал, окончил военную академию, защитил диссертацию и продолжал работать, сидя ночами за книгами. Соня любила Сергея за его огромную жизненную силу и радость, которой он щедро делился со всеми, говорила, что он глубоко копает и что он – настоящий ученый. Сергей платил тем же, всерьез к ее перепалкам с родителями не относился, всегда шутил и разряжал атмосферу.

Саша после окончания института в академию не пошел. Он работал в военном институте, где прижился, обзавелся друзьями и чувствовал себя вполне комфортно.

Все, что зарабатывали Саша и Соня, они немедленно спуускали, покупая по случаю красивые вещи, уезжая на юг в отпуск или помогая друзьям. У Сергея и Ирины всегда были деньги, и они вечно возвращались с генштабовских распродаж с полными сумками обновок. Ира не курила, не любила выпить, не красилась, не материлась, никого не приглашала в дом и не слонялась по гостям. Она бы никогда не согласилась пройти ночью по центру Москвы с гитарой в руках, распевая в полный голос «Поднявший меч на наш союз», как это делала уверенная в своей безнаказанности Соня. Ирина была примером и положительным персонажем. К Соне привычно возвращался ярлык персонажа отрицательного.

Конфликты со свекровью у нее начались еще до свадьбы. Но она и близко не подпускала мужа к тому, чтобы вмешаться. «Мать – это святое, – говорила она ему, – я разберусь сама». Она действительно пыталась объяснить свекру и свекрови то, что руководило ее поступками,

даже писала им письма. Но, несмотря на образцовый дом, ухоженного мужа и благополучных детей, оставалась для них чужеродной, неправильной, другой.

– Саш, ну почему они мне диктуют, куда мне ходить, а куда нет? Мои ребята, я же с ними в одном классе училась, они же для меня как... Как Вера, Саш! А потому, что предкам самое главное – как все выглядит, «что будет говорить княгиня Марья Алексевна!» А вовсе не то, что есть на самом деле. Какая гадость – требовать, чтобы я не встречалась с друзьями! Да если я захочу что-нибудь сотворить эдакое, комар носа не подточит, Саш! А если на виду, то любому ясно, что все чисто. Кроме них! Пусть говорят что угодно. Наплюнуть мне! Я не виделась с ребятами сто лет. Все мои охламоны будут на этой встрече. И я буду тоже!

– Иди, только не поздно.

– Ну почему? Почему не поздно? Почему ты портишь мне настроение? Почему, когда ты собираешься в гости без меня, я отпускаю тебя с легкой душой?

Саша любил жену, но полностью овладеть ею не мог. Соня принадлежала своему мужу лишь большей частью себя, считала его маминым наследством и завещанием, оберегала и щадила. Но она выпирала из общепринятых правил во все стороны, как крепкое молодое тело из старого, рваного кафтана.

Ей было нужно что-то еще. Что-нибудь, что железно опровергло бы внушенное ей родителями убеждение, что она неинтересна, некрасива и неуместна.

– Тебе очень повезло, что ты вышла замуж за Сашу, – говорил отец, и Соня возмущалась: почему ей повезло, а Саше нет?

– Родители Саши – золотые люди, – изрекал Осип. Соня пыталась жаловаться, что они не понимают ее, но снова видела скептически поджатый рот своего отца.

– Знаешь, мне просто странно, откуда у тебя столько амбиций! Это явно воспитание Алевтины. Ты должна быть благодарна им за помощь, они же на вас положили жизнь!

Она наряжалась и подкрашивалась, собираясь к отцу. Ей казалось, она неотразима.

– Какая-то ты... – Осип некоторое время молчал, отворачивался. – Ты опять курила. Чисти зубы, перед тем как ехать ко мне.

Чисти зубы, умывайся, надень маску, чтобы тебя не видеть, и засунь себе кляп в рот, чтобы замолчать навсегда! – переиначивала Соня слова отца.

– А ты в состоянии просто поговорить со мной, спросить, как у меня дела, без критики и наездов?

– Я спрашиваю. Но ты так редко звонишь и приходишь. А должна сама интересоваться, как себя чувствует твой папа. Ты невоспитанна и очень самонадеянна. Берта ничему тебя не научила, – сам с собой разговаривал он, сидя напротив.

«Так научил бы!» – злилась Соня. Но вслух говорила:

– Пап, Света твоя, она же в правительстве секретарем работает. Может, она достанет детям путевки в хороший лагерь хоть на месяц?

– Понимаешь, Сонечка, у Светочки в анкете не значится, что ее муж имеет детей.

Он доводил ее до слез. Он не признавал в ней ни человеческих, ни женских достоинств, ему не за что было ее похвалить. Он смотрел выше ее головы. Он рассказывал, противопоставляя, как умна дочь его второй жены, как много в ней настоящего вкуса и как правильно воспитывала девочку ее мать, пока они не развелись. И снова Соня была «не то, что надо». Она чувствовала это всегда, даже в те редкие часы, когда отец был благосклонен.

Возвращалась от Осипа Соня нервной и издерганной. Как со сцены, она произносила своему мужу страстные речи, смысл которых сводился к одному: «Отец! Посмотри на свою девочку с восторгом в глазах! Прости ей ее глупость, неуклюжесть или незрелость! Пусть, глядя в тебя как в зеркало, она поверит в то, что прекрасна и любима! Не говори при дочери дурных слов о женщине, которая дала ей жизнь! Пусть дочь слышит, что ее мама – лучшая на земле, как бы ваши отношения ни сложились! Не оправдывайся, ты и так для нее божество, и научись

в моменты встречи принадлежать ей одной хоть ненадолго. Хвали свою дочь чаще, отец, хвали и восхищайся ею не потому, что она заслужила похвалу, а потому, что только твоя любовь – гарантия того, что однажды она не станет искать в других мужчинах все, чего ей не дал ты!»

Соня была уверена, что не изменяет Саше. Она любила его – родного, законного и неприкосновенного. Но ей было необходимо доказать самой себе, что как женщина она что-то значит.

Мужчины, пытавшиеся ее обольстить, были неинтересны. Они не походили на отца, который не добивался ее внимания и не старался угодить. Он был недоволен, упрекал, пренебрегал и стоял «выше». И Соня, как заговоренная, выбирала объектами своего внимания только тех мужчин, которые вели себя так же. Она должна была «достигать и доказывать». Она ставила галочки, но не получала удовлетворения. Ею по-прежнему никто не владел. Она блестяще изображала сексуальность, но даже в постели не переставала думать. И у нее уже была про это песня. Не про секс, сам по себе он ей был не слишком интересен. Про ее ничейность.

«... За границей, в каком-то сезоне, и не пятом, а дальше, седьмом, я живу, как отверженный в зоне, там, где век неизменен мой дом, там, где век неизменны маршруты, бег по кругу в привычном кругу, но в любую седьмую минуту я теперь обознаться могу.

То и дело мне кажется, будто в ослепшей толпе кто-то очень знакомо-забытый, как старый припев, промелькнул, и тогда ускоряю я бег, чтоб догнать и увидеть, что это чужой человек...»

Им уже исполнилось тридцать пять. В привычных застольях все заметнее становилось, что прежние приятели друг другу не подходят. Компании переформировывались. Но еще полно было рядом тех, с кем легко провести вечер, но с кем больше ничего не связывало. Наедине с собой Соня все чаще ощущала бездну, пустоту там, где должны были появляться ответы на вопросы, которые она себе задавала.

– Саш. Посмотри, какие я купила книги! Это же настоящее сокровище... Саш. Как же здорово, что теперь все это есть, правда? Вот сейчас поставлю эту на столе и... буду на нее смотреть. Пусть она подождет. Да? И потом нам с ней будет так здорово! Саш... Я задыхаюсь на своей работе, я с ума схожу от этих цифр. Са-а-аша, не спи.

... – Верка, почему все так? Постройки, обломки... Какая-то афера наша жизнь, Вера. Не понимаю. Правда, Нора звонила? И как она? Поглядеть бы...

Все куда-то бежали, хотя еще вчера жили спокойно. Саша не собирался покидать службу, а Сережа ушел из армии и потерял все льготы. Он занялся экстрасенсорикой, в одночасье лишив покоя своих родителей и жену.

– Саш, пусть приедет Сережка! Он так интересно рассказывает! И скажи ему, пусть привезет что-нибудь почитать. Пусть прислушается и узнает, что мне сейчас подойдет по настроению. Пусть сам догадается, ладно?

Время мчалось быстрее, быстрее, быстрее. Соня старалась «слиться с фоном», но допускала оплошности.

Осенним теплым вечером она шла с соседкой от метро, солнце грело нежно, но ошутимо, как будто гладило ладонями спину и прятало эти ладони в карманы облаков. Соседка с упоением рассказывала о том, «какие все суки на работе, как она устала, как задержалась и какой неисправимый гад ее бывший». Соня, идущая рядом, честно старалась задавать вопросы по теме. И вдруг солнце, закатное солнце, которое внезапно шагнуло из-за туч и залило теплом и сиянием все вокруг, и земля вспыхнула, задышала и, лучась, распахнулась навстречу.

– Господи, какая красота! – выдохнула Соня, и на слове «Господи» буквально перестала дышать – остановилась и схватила бубнящую соседку за руку. Соседка посмотрела на нее как на сумасшедшую, и Соня мысленно чертыхнулась: она никогда не умела держать себя в руках. Отец ей всегда об этом говорил.

Дома все было хорошо. Дети росли, и Соня любила их той любовью, о которой всегда мечтала сама. Она рассказывала им о жизни, читала книги вслух, комментировала фильмы, которые они смотрели вместе, водила в театры. Друзья детей постоянно приходили в гости,

Соня обожала усадить их всех за стол и накормить до отвала. Правда, случались перебои с продуктами, и она ужасно страдала, если не могла, как прежде, угощать детвору.

Как-то по знакомству ей удалось отправить Риту и Кита в Одессу в пионерский лагерь. Но забрать их оттуда Соня должна была сама. Она прилетела, собрала детей, и они понеслись в аэропорт. Дорогу водителю заказали через Привоз.

Самой главной радостью от поездки в Одессу для Сони оказалась громадная корзина, в которой, переложенные бумажками, покоились пятьсот яиц. Она везла их в Москву на потеху знакомым. Зато потом еще долго могла кормить выпечкой и просто яйцами детей, которые к ним приходили в этот голодный перестроечный год. Когда Соня видела довольные жующие рожицы, она согревалась и успокаивалась. Суета отступала.

С молодняком она дружила еще лучше, чем когда-то Берта, им не бывало скучно вместе. Матери ревновали к Соне своих чад. Она даже нажила врагов, потому что знала больше о чужих детях, чем их родители. Частенько в трудную минуту ребята сбегали именно к ней. Соня удивлялась, как можно до такой степени не понимать собственных отпрысков. Грустила от того, что родители с детьми не играют. Не верила, что можно забыть о собственном детстве, ей казалось – она помнит все. Ее дети обожали папу, гордились мамой, им всегда было хорошо вместе.

– Мам, у Лиды собака после операции. Ей такую же делали, как нашей Чушке. Она умирает, мам, сделай что-нибудь! Лидина мама говорит, дайте ей спокойно умереть. Мам, ну пожалуйста!

– Ну вот что ты цыганишь, Риташа? Я же не врач все-таки. Ага! Слезы. Ладно, скажи Лиде, пусть приходит, придумаем что-нибудь.

Дело было плохо. Собака не могла стоять, швы у нее на животе разошлись, и наружу полезли толстые белые нитки. Или это ее внутренности? Собака была бледной, на брылях ни кровиночки. Соня поискала телефон платного ветеринара и проверила кошелек. Ребенок должен верить в доброту и справедливость!

На кухне на обеденном столе подвыпивший ветеринар оперировал собачку. Ему ассистировала Соня. Он говорил, что делать, и она выполняла так, как будто занималась этим всегда. Не все ладилось, операция шла долго. Лида сначала плакала в соседней комнате, потом дети втроем успокоились и только изредка высовывали носы из-за косяка двери. Наконец Соня почувствовала – ей немедленно нужно выйти – и позвала дочь:

– Риташа! Иди сюда и постой немного вместо меня.

– Я не смогу, мам. Я упаду в обморок.

Соня показала дочери кулак:

– Вот только попробуй. Не посмеешь грохнуться ни в какой обморок, иначе какой ты, к черту, друг? Вставай сюда, дыши ртом и держи вот тут. Быстро!

– Мам! Я смогла! Мам!

– Я не сомневалась, доченька. Ты – умница. Ты все сможешь, что решишь смочь. Я тобой горжусь.

Наконец операция была закончена. Собаку уложили на пол, укутав в детское пальто, и приладили капельницу на ключ шкафа. Дети спали на диване в комнате, уже начинался рассвет. А Соня с врачом пили водку на кухне, и он говорил, как рад, что попал к ним в дом. Соня его понимала.

Дети подрастали, у Сони все чаще появлялось свободное время. Одна и та же программа не могла транслироваться долго в ее голове, и Соня искала, на что переключиться. Вера предложила перейти на работу в коммерческую фирму. Это другие деньги и другие возможности. Жизнь брала в оборот, суета увеличивалась, было интересно, странно и не верилось, что навсегда. Все же иногда случались минуты тишины.

«... Волшебная музыка мимо нее проносилась, а может, она полнокровна, горда, величава, все шла через музыку и одиноко звучала, и ширилась, и простиралась, светилась и длилась... И вдруг затуманилась в чем-то тревожном вопросе: «Кто ты?» – и, помедлив, ответила: «Осень...».

Но это только минуты, они пролетали и исчезали. И снова бежать, бежать, бежать! Надо успеть. У нее сегодня снова встреча...

– Саш, ну что ты сам не свой? Ну что тебе плохо и не так? Ну зачем тебе это вдруг понадобилось, Саш? Ну какая разница? Да плюнь ты на все это, честное слово. Посмотри, какой у нас дом, какие дети. Все же здорово! Саш, я денег заработала, вот! Помогла Верину брату открыть свою фирму, и он мне заплатил! Давай мебель новую купим, а? Да не сплю я со всеми подряд, ну с каких пор ты на это внимание обращать начал?

Крутилось, загустевало, мутнело. Она так не могла больше. Не могла, не могла, не могла!

– Саш. Раз ты так, то давай разводиться. Может, не навсегда. Я сейчас ничего не знаю. Поживем отдельно, будет видно.

... – Кит. Послушай. Мы с папой решили немного пожить отдельно.

На нее сначала надвинулись, а потом отступили и зависли глаза. Синие глаза сына. Они как будто расплзлись в стороны, а Соня осталась между ними, вздернутая на дыбу, обнаженная, неприкрытая.

– Нет, мама...

Она подумала: «Лучше бы я сдохла».

... Саша подал на развод сам. Она не поменяла фамилию, не подала на алименты, не забрала у него ключей от квартиры. Он переехал к родителям. Соня почувствовала себя так, как если бы стояла перед открытой дверью, за которой для нее простиралось множество дорог.

Она жаловалась друзьям на то, что Тина сама теперь может только говорить, а с остальным без помощи не справляется. Старая женщина уже была не в силах жить одна даже летом. Соседи в ее квартире не хотели приватизироваться, но уже появлялись агенты по обмену. Соня нашла такого, и он согласился «прокрутить» их вариант. Она, как всегда, особенно не вникала, веря, что ее не обманут. Скоро комната в родном переулке была продана за восемь тысяч долларов, это показалось вполне нормальным по тем временам. Соня забрала к себе бабушку и с тех пор могла приходить в свои родные пенаты только в гости к Вере.

– Сонь, Нора в гости зовет.

– В Израиль? Поедешь, Вер? Здорово...

Тину поселили в маленькую комнату, большую Соня отдала детям. По выходным приезжал Саша, он занимался с детьми и чинил все, что сломалось в доме. Наконец у них были в порядке многие вещи, до которых раньше у мужа не доходили руки. Вел себя Саша исключительно. Он не нарушал Сониных планов, не давил и не вторгался. Она чувствовала себя независимой и своей свободой пользовалась.

Только окрашена свобода была уже по-другому. Соня заложила за шкаф гитару и больше не хотела своих песен, стихи перестала писать тоже. Изгнала прочь того, из-за которого разошлась с Сашей. Она чего-то ждала от жизни, чего-то искала в ней. Это неизвестное должно было совершить нечто, не удавшееся ни одному занятию и ни одному мужчине ее жизни: овладеть ею целиком.

Родители Саши посылали своей бывшей невестке подарки, передавали приветы. Мария Егоровна пекла пирожки, и Саша привозил их детям.

В тот день Мария Егоровна позвонила Соне рано утром, она заикалась.

– Соня! Помогите, Соня! Я тебя умоляю! Сережа... У Петин сестры сын заложил квартиру, лоботряс, а денег нет! Она плачет, рыдает, им нужны срочно деньги, позвонили нам! А Сережа сказал, что он возьмет в долг и как-нибудь выплатит. Ты же знаешь, что ничего он

не выплатит! Откуда у нас такие деньги? Соня, помоги! Уговори его, пусть не берет в долг! Богом тебя молю, Сонюшка!

Все, что накопили родители Саши, «сгорело» в девяносто первом году. Полковник Генштаба, Петр так и не успел купить долгожданную машину, в очереди на которую стоял много лет. Они остались ни с чем, Петр больше не ездил в командировки за границу, Мария уже не работала. Привыкшие к дисциплине, они не роптали, но накоплений у них не осталось.

– Не волнуйся, успокойся. Все будет хорошо. Скажи ребятам, пусть ко мне приедут.

Саша с Сережей приехали в этот же день, и Соня задала им только один вопрос: «Сколько?» Услышав ответ, она положила перед Сережей две тысячи долларов. Это была серьезная сумма.

– Соня, подумай, – сказал Саша.

– Мать сходит с ума, а я буду думать? Смешно.

Наконец-то для родителей Саши она стала хорошей. Отдавая деньги, Соня совсем об этом не думала, но была счастлива, что смогла помочь. Она не отказывала людям никогда, помощь другим приносила ей радость. Приходила с сумками продуктов к своим друзьям, когда у них наступал черный день. В прежние времена умудрялась достать любые дефициты, если это нужно кому-то из близких. За то, что Сашины родители ее наконец признали, она заплатила бы и дороже. Только у этой победы оказался горький вкус. В поисках смысла жизни Соня поспешила дальше.

Их фирма продавала мини-заводы. При виде клиента девушки-менеджеры должны были, улыбаясь зазывно, сделать все, чтобы клиент заводик купил. У большинства продажа шла более чем успешно. Несколько хуже это удавалось Белке, Сониной новой подруге. Ее клиенты сами впадали в очарование – юная, светловолосая, изящная Белка, казалось, согревала и освещала внутренним светом пространство вокруг себя, но души к продажам не прилагала. «К ней не пристаёт грязь, понимаете, к ней не пристаёт грязь!» – восклицала Соня о подруге, и в голосе у нее звучали изумление и нежность. Настоящее имя Белки Светлана казалось Соне холодным и ее подруге совсем не подходящим.

Весь коллектив хорошо знал, что заводики ненадежные и могут сломаться вскоре после окончания гарантийного срока. Соня разглядывала покупателей, приехавших из областей, и чувствовала неловкость. У них так горели глаза, они так верили в свою удачу! И нужно было сделать все, чтобы простодушные мужики расстались со своим кровным добром, приобретя взамен конструктор-ломастер. Соня переводила взгляд на коллег, которые заранее потирали руки, и чувствовала себя паршиво. «Все торгуют, – значит, это должна делать и я, – пыталась она договориться с собой. – Почему же тогда у меня ощущение, что я плаваю в дерьме?» Однако она продолжала плыть, меняя стили.

Помимо заводиков фирма занималась разной мелочовкой. В один из дней, празднуя крупную продажу, сослуживцы веселились у кого-то в гостях, и Соня заметила на вешалке штук шесть-семь зонтов, которыми торговала фирма. Потом она убедилась, что все сотрудники тащили. Кто что. Зонтики, телефоны, разную мелочь. Подумала, что тоже может что-нибудь взять, и стащила зонтик-трость. На следующий день она подарила его подруге. Себе не оставила, обратно не понесла, решила, что перебьются.

Каждый раз, когда удавалось «впарить» кому-то очередной мини-завод, Соня ощущала все большую гадливость, но выслушивала поздравления. Еще держали веселые поездки, сытая жизнь и убедительные перспективы. Но вновь наступил момент, когда она, как это случалось и раньше, спровоцировала скандал. Соня не отдавала себе отчета в том, что продажи – занятие не ее, и не могла уйти мирно. Она все еще не знала себя и терпела до последнего.

– Ура, скандал, скандал! Два марса в гороскопе! – мрачно ликовала она, перессорившись с начальником и замом. Как всегда в такие моменты, Соня действовала, не размышляя, как под гипнозом. Она написала заявление об уходе. Белка, с которой они, несмотря на большую

разницу в возрасте, очень подружились, из солидарности уволилась в тот же день. Соне нужно было срочно искать работу.

На этот раз ей помогла Милочка, с которой они, как и с Белкой, проработали когда-то вместе несколько месяцев и потом остались близкими на всю жизнь. Подруга устроила Соню в приличную фирму, куда крупнее, чем та, из которой она ушла. Соня быстро осмотрелась, наметила план и буквально поперла в гору, успешно наживая врагов в женском коллективе. Уже через полгода из обычной машинистки она выросла до референта директора, и началась феерическая жизнь с заграничными командировками, личным водителем и одеждой по каталогу. Она работала безостановочно, как робот, и женщина, в отделе которой Соня числилась формально, с яростью следила за тем, как росла зарплата ее «подчиненной».

Соня не хотела общаться с сотрудницами. Готова была выть на луну, когда слышала, о чем они говорят. И если в детстве не умела, то в этот период сознательно не желала быть «своей» в обществе женщин. На перекуры ходила одна, в обед оставалась в офисе, тогда как всех увозил автобус. Ее коллег кормили в хорошем ресторане, но Соне это было неинтересно, тем более что у нее болела рука.

Боль и дискомфорт усиливались. Через некоторое время Соня поняла, что не может попасть вилкой в рот из-за тремора в руке. Она старалась прятать руку, но, будто она была на сцене с гитарой, ей казалось – на нее все смотрят. И рука дрожала сильнее.

Однажды она пожаловалась Милочке:

– Представляешь, левой рукой есть не могу, болит, трясется. До рта не доношу...

– Ну так ешь правой, – ответила Милочка, которая три дня в году давала осечку, говоря явно невпопад.

Соня любила маленькую, но сильную Милочку. Уже много лет она была одной из самых надежных ее подруг. «Ты свисти, себя не заставлю я ждать», – повторяли они друг другу известную фразу, и это так и было.

Соня часто повторяла, что ей нравится четвертый десяток жизни, который, впрочем, был уже на излете. Вечеринки с друзьями становились все более шумными, вина Соня выпивала все больше, курила чаще. Мужчины, стремление доказать себе и миру, что она что-то значит, разочарования, взлеты, бравада, шальные деньги, грохот музыки и снова работа на износ. Как бы ни провела Соня минувший вечер, наутро она чувствовала одно и то же: опустошение, недоумение, голод. Но вновь возникали романы, и ярко сгорали один за другим, как огни фейерверка. У Сони не могло быть ничего вялотекущего, и, рассказывая друзьям свои новости, она еще больше сгущала краски.

– Девчонки, я познакомилась с интересным мужиком. Представляете, он попросил меня, чтобы я с ним съездила на могилу к моей маме. Он все время расспрашивает о детях, посмотрите, какие привез им подарки. Он и своей матери дал мой телефон. Она мне звонила: «Здравствуйте, Сонечка! Приезжайте к нам в гости!»

– Сонька, это интересно. Так ради перепихона не делают!

Как выяснилось, делают. Однажды, пообещав вернуться, он ушел и исчез.

– Паскудство, Вер. Можно было вполне обойтись без хождения ногами по святыням. Знаешь, если бы могла, я бы его убила!

«...Подборка из пустых страниц, никем не прожитых столетий. Смотрю, не узнавая лиц, на вас, на перелетных птиц. На вас, которые не дети и не мужья. Со всех столиц зову своих сестер. Как сладок для нас соединенья миг и наш предсмертный, хриплый крик! Мы были... местом для посадок, мы – передышка, искра, блик, минуемые в одночасье, хотели быть для вас – землей, хотели материнства, счастья! Проезжей стали колеей. Все наши борозды пролиты отравой. Выжжены луга. Столицы, страны... Мы разбиты. Планеты... Сброшены с орбиты от черных крыльев жуткой свиты еще любимого врага. Но вот теперь – белки в крови. Живот уперся в стенку ада. Космические корабли... Мы – единенье, мириада, растим, – растим! –

во чреве чадо, зачатое от нелюбви. Как девальвация валют мы – Женщины Всея Планеты. Какой невысказанный аллюр! На разъеданье жавелю тони, табун „я не люблю“, чтоб возродиться в казни этой! Осталось сто минут. В изгибе все небо. Небо – синий грот. Мы жизнь несли – родим погибель. Тогда и к вам любовь придет! Воронка в хиросимском грибе, потоп, сверхновая... и вот... Как будто силы все отдав, мы – умерли. Но стали краше. Мы были первозданной чашей, а стали, реквием сыграв, сосудом всех земных отрав, – сильнее смысла, выше прав, – заглавьем всех грядущих глав, мы – имена и судьбы ваши!..»

Но компании продолжали греметь, и время шло. Несмотря ни на что, Сонин дом стоял крепко. Когда она проводила время с детьми, то принадлежала им безраздельно. Друзья сына и дочери по-прежнему прибегали «к тете Соне посоветоваться». Они смотрели вместе фильмы, а она комментировала их, нажимая на «паузу». Читала им вслух взрослые книги и рассказывала попутно о том, что думала, приводя множество аналогий.

С Ритой они стали очень близки. Девушка расцвела, и Соня все время говорила ей о том, как она хороша. Она любовалась дочерью и думала, как замечательно получилось, что их с Сашей дети взяли от родителей только самое лучшее. Она рассказывала Рите о своих похождениях, делилась раздумьями и сомнениями, но мужчин не обвиняла, как когда-то это делала Тина, а вслух искала причины соединений и разлук. Никиту обе от лишней информации оберегали.

Сын подрастал, и Соня замечала, как он все чаще из двоих родителей выбирал отца. Она не мешала, отступала в тень, а в глубине души надеялась, что Кит когда-нибудь это оценит. Наедине с сыном старалась отдать ему как можно больше, как будто это, ею отданное, должно было сохраниться в нем вещественно, чтобы послужить со временем доказательством материнской любви. В разговорах с Никитой Соня признавала свою вину в разводе. Подчеркивала, что, если бы не она, папа бы никогда из семьи не ушел.

Бабушка помогала, копошась по дому. Она уже больше пачкала, чем убирала, и Соня пыталась освободить ее от всех дел. Но однажды Тина сказала:

– Если я ничего не буду делать, что же мне теперь, умирать?

Оказалось, услышать такое больно, и внучка на минуту остановилась, чтобы перевести дух.

Может быть, стоило именно сейчас подумать о жизни, но ей было некогда. Она считала себя милосердной, что не мешало уже через полчаса взбеситься, увидев плоды бабушкиных трудов.

По выходным и по вечерам, если Соня задерживалась, Саша приезжал к детям. Он оставался с ними, когда она уезжала в командировки. Но едва только бывшая жена появлялась на пороге, уходил. Соня была благодарна ему за это.

Работа отнимала огромное количество сил, большая зарплата расхода энергии не покрывала. Как и прежде, Соня не видела смысла в бесчисленных переговорах, правлениях и коллегиях, хотя была в курсе всех событий и планов шефа. Работать лучше всех – это стало для нее делом чести, но не больше. Она недоумевала, как люди могут не спать ночами от мыслей о том, «что происходит в офисе». От мыслей об этой мышине возне. Нет, считала она, ничто подобное не стоит того, чтобы положить жизнь.

– Верка, у меня крыша едет от всего этого. Они действительно считают, что делают важное? Эти купли-продажи, «наварить», «срубить», всех «сделать»... Сумасшедший мир, и мы в нем сумасшедшие. Или это я одна такая?

Ожидалась реформа предприятия. Генеральный директор сначала вскользь, а потом все чаще стал поговаривать о том, чтобы отдать Соне подразделение. Казалось, ничто не могло этого предотвратить. И вот тут, в один из отъездов руководителя, она намертво прицепилась к своей липовой начальнице и за рекордный срок довела ту до иступления. Чем больше «начальница» негодовала, чем безобразней и необратимей становилась ситуация, тем спокой-

ней говорила «подчиненная», и с ее лица не сходила улыбка. Соня разрушала свою собственную постройку с упорством маньяка. И преуспела.

Когда она пришла на работу на следующий день, ее компьютер был вычищен, как и письменный стол. Недаром она держалась особняком. Коллектив женщин под предводительством псевдона начальницы объединился. Соне объявили бойкот.

Вернулся шеф. Охрана доложила ему о том, что произошло. Он пытался помирить обогранных дам. Но ни одна из них не согласилась на компромисс.

Соня подала заявление об уходе, и руководителю ничего не оставалось, как подписать его. На следующий день после ухода референта он уволил «начальницу», позвонил Соне, просил вернуться и обещал, что теперь никто с ней бороться не посмеет. Но это ее уже не касалось.

...«Ни о чем не буду думать, все к черту. Все, я свободна, не желаю ничего слышать о здоровом смысле! Плевать, как говорила Эстер. Гуляем! Народ, труби сбор! Сегодня у нас будет что-то грандиозное! Денег не считать. Плачу за всех!

...Как я тут оказалась? Почему я сплю в одежде? Господи, что это? Уф, какой ужас. Голова. Голова не поднимается. Детей дома быть не должно. А почему так тихо? Где Чушка? О Боже, как же встать-то? Зар-раза. Все плывет, во рту помойка».

– Сонечка, деточка, поешь кашки, – вошла Тина, держа тарелку в дрожащих руках.

«...Вить хочется. Вставай, Соня, вставай, идиотина. Больше ты пить не будешь. Никогда. Остановись».

И Соня остановилась.

(вав) I

С каждым днем люди создают все больше вещей, и вещи служат им, отнимая возможности, данные для существования изначально.

Человек теряет свою способность быть с природой единым целым и через нее постигать Творца.

В естественном стремлении внести в свою жизнь больше комфорта, получить удовольствие и насытиться он движется в обратном направлении от цели.

Он старается обогатиться благами материального мира, как крючками, желаниями цепляясь за них, но не может обрести покоя и разорвать очерченного круга.

Ему неизвестно, что безграничен мир только там, по другую сторону материального, где открываются пути восхождения.

Люди расширяют свои владения, они играют в могущество и охватывают все больше благ. Но чем сильнее их усердие, тем жесточе голод, тем неотвязней беспокойство и тем меньше они знают о Замысле.

И все труднее Творцу напитать через натянутую пуповину свое дитя единственной пищей, которая животворит.

*Дух проникает мыслью, одаряя свободой.
Но не каждую мысль принимает человек.
Иное суждение он отбросит сразу.
И постарается поскорее забыть.
Потому что, если принять, придется менять себя.
Но человек не хочет этого, оберегая от перемен свое «я» как наивысшую драгоценность.
Он возвращается к старым связям, окружая себя привычными звуками. Он погружается в грохот «мира» как в спасение, чтобы безмолвие не раскачало сознание, которое уже давно утратило способность существовать без звуковых опор.
Путник, ты искал тишины.
Вспомни, как любил ты смотреть на молящихся.
Как радовался, когда узнавал в людях свет веры в Закон.
Как болела твоя душа оттого, что мир между теми, чью любовь ты разделял, невозможен.
Но теперь ты получишь то, что заслужил. Все, к чему ты стремился, окружит тебя и заговорит с тобой на языке просвещенных.
Вот они, зовущие к общей цели, имя которой – Любовь, книги о религиях человечества. Сейчас они доступны тебе в своих первоначальных формах, без поправок и сокращений.
Познай себя причастным к каждой из них, меж их страниц встречай свое сердце.
Почувствуй всеобщую душу, что плывет снаружи старинных свитков и включает их в себя.
Эта душа принадлежит тебе.
Приветствуй ее, признавая, и обрети мир.*

Была единственная

Была единственная для Москвы неделя, когда листва еще не успела потемнеть и покрыться несмываемой пылью, когда воздух – самый душистый, а надежды – самые необоснованно дерзкие. Долгожданная весна только начиналась.

У старого кирпичного дома в Могильцевском переулке, что в центре Москвы, недалеко от Арбата, остановился служебный микроавтобус. Двери подъезда были распахнуты, а газоны вокруг усыпаны мохнатыми сережками тополей.

Из окна кабины водитель видел лестницу на первый этаж. Там две квартиры, но просматривалась только правая дверь. Именно туда несколько минут назад вошла инспектор по делам несовершеннолетних, одетая в милицейскую форму. Теперь, нервно затягиваясь и выпуская дым в окно, водитель ждал ее и злился на весь свет. Эти поездки были для него особенно тяжелы. Он ненавидел дни, когда приходилось забирать детей из неблагополучных семей.

«Твою мать», – вздохнул водитель. Он собрался прикурить следующую сигарету, но увидел, что дверь квартиры на первом этаже открылась. Курить в присутствии детей по инструкции не полагалось. Водитель сунул сигарету в нагрудный карман рубашки, сломал ее и чертыхнулся, заметив, что табак просыпался внутрь и неряшливо просвечивает сквозь тонкую голубую ткань.

Первой из дома вышла инспектор, она вела за руку совсем маленькую девочку, кривоногую, бледную, с огромными синяками под глазами и короткими слипшимися волосиками. Правой рукой инспектор крепко сжимала ладонь мальчугана чуть постарше, у него был такой же нездоровый, синюшный цвет лица, а на верхней губе бугрилась крупная разодранная лихорадка. Водитель отвернулся было, но его как будто притягивало, и он снова стал наблюдать за происходящим.

Тем временем инспектор притормозила, потому что дети вперед не шли, а выворачивали головы назад, пытаясь встретиться глазами с матерью. Она никак не могла вытащить из квартирной двери ключ. В конце концов махнула рукой, оставила ключ в замке, дверь – нараспашку, и пошла за инспектором, но, встретившись с ней глазами, вернулась и вывела еще одного ребенка – хрупкую девочку лет одиннадцати-двенадцати.

Мать – черноволосая, худая, в красном сверху, в черном снизу – подтолкнула вперед старшую девочку, а сама невесомой походкой пошла следом. Она тоже была бледна, как и ее дети, но выражением лица резко отличалась. Женщина улыбалась и выглядела вызывающе. Черные волосы на красном фоне, легкость и некоторая резковатость движений делали ее похожей на танцовщицу. «Сука», – сделал вывод водитель вслух, пользуясь тем, что в машине он все еще один.

Старшая девочка пошла, шаркая ногами и не сводя глаз с матери, но та смотрела поверх ее головы. Она вообще смотрела вверх, как будто задумалась о чем-то заманчивом и далеком. Внезапно она остановилась и бросила взгляд на подъезд, словно о чем-то вспомнила.

Дверь парадного была прижата булыжником к стене, а рядом аккуратно стояла наполненная песком красная детская формочка. Женщина замерла на минуту и резко развернулась.

Но дети уже залезли в автобус, за ними поднялась инспектор.

Мать помахала им рукой и одобрительно закивала. Двери автобуса закрылись.

– Ну что? – спросил водитель.

– Нормально. – Инспектор поправила под пилоткой заколку в волосах. В отличие от шофера, она от подобных процедур никаких эмоций не испытывала, считала – себе дороже. Была уверена, что все именно так и должно проистекать: можешь – растишь, не можешь – до свидания. Одумаешься – есть шанс, будешь продолжать как раньше – пеняй на себя.

– Я ж тебе говорила, что тут проблем не возникнет, – сказала она водителю. Потом повернулась к детям: – Сели? Все, поехали, Коль Иваныч.

Инспектор была готова утешить детей, но дети не плакали. Все трое уселись на одну лавку автобуса и сидели, взявшись за руки и глядя в окно.

За окном мать строила им рожицы, пытаясь рассмешить. Она повернулась к детям левым боком, оттопырила зад, приложила правую руку к копчику и двигала кистью туда-сюда, изображая виляющий хвост. Дети смотрели серьезно.

– Китай-город, – сказала инспектор и села напротив детей через проход – на всякий случай. Автобус тронулся.

Едва машина скрылась из виду, мать почти бегом вернулась в квартиру, достала из ящика для обуви бутылку водки и, не отрываясь, выпила треть. Потом опустилась на пол и закрыла глаза, дожидаясь, когда «поплывет». Через несколько минут ее действительно закачало, и сразу стало неважно, открыты глаза или закрыты. Встала, доплелась до дивана и, сделав еще один глоток, улеглась под старый плед. Знакомые лица возникли и затолкались, вытесняя друг друга. Мысленно она заговорила с лицами, и это было привычнее, чем ее реальность, о которой хотелось забыть.

...Раз, два, пять. Что ты сделала с моей жизнью? Нет, не так. Раз, два, три. Это ты во всем виновата. Четыре, пять. Сколько раз я представляла себе, как это было. Шесть, семь, восемь. Как ты взяла и одним махом перечеркнула меня, его... Восемь? Нет. Девять. И это ты называла любовью? Да какая, к шуту, любовь? Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ты никого и никогда не любила. И его ты не любила, вранье. Четырнадцать.

Четырнадцать ступенек. Пролет. Ты шла медленно, на каждую ступеньку вставляла обеими ногами и переводила дух, как древняя бабка. Ты смаковала, смаковала каждое свое движение, это не было страданием, к черту твое страдание, к черту все!

Ты тряслась над ним, над своим ненаглядным Коленькой, ты всегда над ним тряслась. «Ах, Коленька плачет! Ах, у Коленьки шишка! Ах, у Коленьки недопонимание с одноклассниками!» Зачем ты вообще меня родила? И от кого все-таки ты, богомолка, родила меня? Черт.

Ты поднималась эти четырнадцать ступенек и, не отрываясь, смотрела на окно. Потом подошла и стала гладить подоконник. Ты наверняка гладила подоконник, ты же актриса, твою мать, только глупцы считали тебя естественной, природной и какой-то там еще. Вранье! Ты вся была деланой, ты всю жизнь жила как перед зеркалом. Потом ты легла на подоконник лицом. Нет, наверно, ты сначала опустилась на колени, медленно-медленно провела руками по широкой плите и, склонив голову, прижалась к подоконнику щекой. «Актриса такая-то и такая-то блестяще исполнила роль безутешной матери!» Аплодисменты!

Я хотела возненавидеть тебя. С того самого первого дня, когда ты выкрикнула ему эти слова. Но не смогла. А ты? Ты крикнула эти слова, и моя жизнь кончилась. И его жизнь кончилась тоже. Потому что он – не ты, он любил меня. Он вообще любил. Ненавидел, конечно, тоже, но любил больше. Жизнь любил. Тебя любил. А ты ушла и даже памяти о себе не оставила, восстановить тебя больше не из чего.

Пузыречек-пузырек, содержимое-то ёк... Какое странное слово «алкоголичка». Алкоголичка – голая птичка. Птичка по имени Вероничка. Но если лежать на спине и смотреть в потолок, прищурив глаза, так, чтобы лепнина вокруг лампы потеряла очертания, можно на некоторое время договориться с собой. Хорошо, что сигареты кончаются редко. Хотя теперь и такое бывает.

Скоро придет Эдик. Он войдет, раскинет руки и замрет на пороге. «Душенька моя! Свет мой, – скажет, – здорова ли ты? Все ли благополучно кончилось? Взгляни же, что я тебе принес! Довольна ли ты? Угодил ли?» И у меня перестанет болеть все внутри, эта чертова душа, и это чертово тело, все отпустит. И я скажу ему: «Угодили, как не угодить, свет мой Эдуард Ильич!

Я уж тут изгрустилась вся. Вечереет, а вас все нет!» И больше не вспомню о том дне. И о тебе не вспомню. А главное – кончится этот проклятый день. Еще глоток. – День сегодняшней.

Ты распахнула окно и поднялась на подоконник. Постояла, закрыв глаза, раскачиваясь легонько. Наверное, ты в это время очень тихо пела себе колыбельную «А-а-а! А-а-а!» в такт движениям. Ты хотела представить себе все, что чувствовал твой любимый. До последней подробности. Ты красовалась, я знаю. Тебе было наплевать, где жизнь, а где твои сказки. Ты чувствовала себя героиней, это был твой день! А потом ты шагнула в воздух.

Я слышу, слышу, я до сих пор слышу страшный рев, когда ему сказали. Люди так не кричат. Так может крикнуть огромный зверь, чей вопль всего на миг опередил пулю, пробившую ему глотку. Он ослеп, сошел с ума, он тоже разбился, его череп тоже треснул. А потом он запил. Но сначала были похороны, только меня тогда не было. Меня не было.

Эдик, где тебя, к лешему, носит? Так смешно смотреть за тем, как крутится и проплывает мимо потолок. Это проплывает мимо жизнь. Но вот только не надо, что лишь моя. «Нет-с, милостивые государи, – сказал бы сейчас Эдик, – вы решительно заблуждаетесь! Это касается всех, слышите?»

Вероника, почти незаметная под старым пледом, лежала навзничь, чуть-чуть приоткрыв глаза. Тончайшая щелочка между веками и водка, согревающая тело, меняли реальность почти до неузнаваемости и обезболивали ее. Привычное прокручивание старых событий доставляло болезненное удовольствие – сродни тому, которое она испытывала в детстве от расковыривания болячек или выдирания молочных зубов. Сейчас можно было думать о своей жизни, как хотелось и как удобней. А удобней каждый раз немного иначе, поэтому теперь она уже не знала точно, как многое происходило на самом деле.

Она поднялась, и стало тяжело дышать. Некоторое время посидела, ероша одной рукой жесткие черные волосы, которые от лежания измялись и теперь торчали в разные стороны. Наконец, покачиваясь, пошла на кухню, наклонилась над краном, чтобы попить, но голова кружилась, и Вероника распрямилась. Несколько минут она стояла, опершись двумя руками на чугунную раковину, потом оторвалась и, шаркая ногами, пошла к ободранному буфету. Там был относительный порядок: Вероника здесь недавно убиралась. Она достала чашку – желтую, ребристую, вернулась и налила холодной воды. Пила с трудом, горло сжимало, казалось, оно заканчивается где-то под грудью, а верхнюю часть тела сковал сплошной спазм. Вероника все-таки наклонилась под кран и застонала. Вода потекла ей на голову и за шиворот.

Как же мне плохо, Господи! Почему это все? Ну почему опять все так? Мама, ну как мне это остановить? Я не хочу как ты, не хочу! Я не хочу умирать, я хочу жить, любить, растить детей. Ну ответь мне, ну пожалуйста, ты же не всегда была такой!..

Вероника вытерла лицо руками, набросила на мокрую голову посудное полотенце, попила из чашки и надела ее ручкой на палец. С трудом она дошла до табурета, села на край, опустила голову, изогнув длинную шею, и застыла вопросительным знаком, свесив чашку с колен.

Старший брат Вероники Коленька погиб, то ли выпав, то ли выбросившись из окна. Ходили слухи, что кто-то помог ему это сделать и что существовали на этот счет особые причины. Но дальше слухов дело не продвинулось, люди поговорили-поговорили, да и перестали. Тем более что история Коленьки практически сразу померкла перед гибелью Миры, матери Николая и Вероники.

В иные дни Веронике нравилось думать, что их семью преследовал злой рок, и что ее мать не принимала решения умереть. Тогда точно так же, шаг за шагом, она представляла себе, как мама просто ушла туда, где ее любимый сын прожил свои последние минуты. В эти дни в воображении Вероники мать не вставала на окно, а всего-то садилась на подоконник. Потом она немного свешивалась вниз, пытаясь понять, как все это могло произойти на самом деле. Наверняка что-то испугало Миру, ведь она была личностью цельной и на самоубийство неспо-

собной – так думала Вероника, когда «иные» дни наступали. Тогда Мира выпадала из того же окна по роковой случайности, из-за отвратительной гримасы судьбы, а вовсе не оттого, что, кроме своего сына, никого никогда не любила.

Иначе как же тогда миф о неземной любви Миры и Мирона, родителей Вероники, носителей одного имени и, как они любили говорить, одной судьбы? «Вместе мокли – вместе сохли». Любимое дело отца – подыскать поговорку к любому случаю жизни. Впрочем, это, как и все остальное, зависело у него от настроения. Он и писать мог по-разному, и говорить, и лепить так, что сказать было невозможно: «Один автор у этих изделий». Вероника не сомневалась, что отец был личностью сложной – талантливой, крупной, противоречивой.

Она подумала, что лучше все же переместиться в комнату. Стало немного легче, головокружение отступило. Прошла по коридору и мельком взглянула на себя в треснутое зеркало шкафа. Обычно, смотря в зеркало, она принимала особое выражение лица, слегка опуская подбородок и вытягивая вперед губы. От этого движения щеки ее разглаживались, уши отодвигались к затылку и натягивали кожу. Сейчас останавливаться и рассматривать себя сил не было. Она увидела только торчащие из-под полотенца клочкастые черные волосы и черные же глаза, блестящие неестественно на бледном лице. Снова легла на диван, вытянулась, зажмурилась.

Кошка спрыгнула со шкафа и заурчала. Ее песня заволокла гулкую комнату, и Вероника улыбнулась, не открывая глаз. Подумала вдруг, что, может быть, еще что-то можно поправить. Потому что в жизни случаются очень странные и необъяснимые вещи.

Вот, например, ее отец Мирон. Сирота, без роду, без племени. Детский дом, армия, война, тяжелое ранение, поначалу не верил ни в Бога, ни в черта. А в Елоховском соборе служил дьяконом его дружок альбинос Федька. Они вдвоем из всего их выпуска после войны в живых и остались. Бесцветный Федька был праведником, жил при храме. А Мирон по молодости брился наголо из-за крутых золотисто-каштановых кудрей, которые он считал для мужика неприличными; он был свободным художником, или, как сам себя любил называть, ваятелем. Вероника помнила рассказы отца о встречах с Федькой в соборе, если, как он говорил, душа просила тайной беседы. Федька рассказывал, Мирон слушал, не спорил, не провоцировал, уважал. Через два года после войны даже крестился, вроде Федоровой просьбе уступил. С другой стороны, не такой у него был характер, чтобы у кого-то пойти на поводу. Значит, все-таки поверил в Бога, хоть и не любил говорить об этом? Или сделал это так, на всякий случай? Тоже не походило это на крутолобого Мирона, не был он слабого десятка и за свои дела всегда готов был ответить. Все это вполне тянуло на чудеса, так думала Вероника, в его-то время! Во всяком случае, необычно это уж точно было.

А мать? Тут все точнехонько наоборот. Из верующей семьи, вся из себя воцерковленная, куда там простым смертным. Правда, в войну, по рассказам отца, Мира в храм ходить перестала, молиться тоже, но после победы покаялась, вернулась, как блудный сын, припала к лону.

Как раз при выходе из церкви, спустившись по ступенькам и развернувшись для крестного знамения, на Пасху в апреле 1949 года Мира и познакомилась со своим будущим мужем Мироном, который, как он потом говорил, пришел в собор всего-то посмотреть, как Федор служит Пасхальную.

Все, что Вероника знала о Боге и о традициях, она знала именно от матери, которая в безбожное советское время ходила в церковь часто, молилась, соблюдала все посты и даже дома носила платок, чтобы не нарушать апостольскую заповедь и обращаться к силам небесным в любой миг, когда душа попросит. Так как же она могла так поступить?

Вероника застыла на диване и снова долго сидела, глядя перед собой. Эдик задерживался, водка кончилась, а то, что она никак не могла переключить себя на другие темы, не обещало ничего хорошего.

Да и откуда оно возьмется, это хорошее, если его никогда не было? Всего-то несколько ярких пятен. Три ярко-черных. Нет, четыре ярко-черных, конечно, четыре. Тот разговор

матери с отцом, раз. Смерть брата и смерть матери – это два и три. И четыре – вечер, когда она увидела, как он на нее смотрит. Тогда она впервые подумала, что, может быть, это все правда и он ей не отец.

К`оту – не отец. К`оту! Бред. В тот вечер все закончилось хорошо. Правда, что-то в душе Вероники сопротивлялось хорошему, подступало неприятное чувство, но в конце концов вместо дрянных мыслишек появилось сострадание и выросло в гордость за отца, которого она так любила. Все-таки вовсе этот день черным пятном назвать нельзя.

А светлых пятен сколько в ее жизни? И были ли они вообще? Дети рождались, это да. Но с их рождением умирали надежды, потому что уходила свобода. И вообще, дети – не высоко и не низко, это нормально. Если есть женщина, то рано или поздно появляется мужчина, а значит, могут появиться и дети. Радости, конечно, были, и печали, жизнь есть жизнь.

От этой своей философии и от последней мысли, показавшейся Веронике необыкновенно глубокой, она неожиданно себя пожалела, заплакала и сразу же разошлась до рыданий. Плакала беззвучно, вздрагивая мгновенно отекающей глоткой и давясь. Она отвыкла плакать, разучилась, и вместо голоса горло издавало сип. Вероника была пьяна, и этот тяжелый плач ее немного отрезвил. Она вскочила, спохватилась, запахнула халат на тонком, совсем девичьем теле, перевязалась пояском – ровная, сухощавая, вытянутая затылком и носом кверху – и начала перекладывать с места на место вещи.

Шептала, приговаривала, что сейчас придет Эдик, и она скажет ему: так больше продолжаться не может, она годится ему в матери и лучше будет, если он уйдет и оставит ее в покое, тогда она сможет устроиться на работу и вернуть своих детей. Это самое главное – вернуть детей, и она их вернет, что бы кто ни говорил.

Повторяя эти слова, Вероника действительно немного очухалась, и в движениях ее стала просматриваться система. Ей показалось – она уже совсем в порядке, когда дверь открылась, и на пороге возник Эдик, ее двадцатипятилетний любовник, худой и жилистый, слегка сутуловатый, с непропорционально крупными кистями рук. Он всегда говорил с ней особенно, как когда-то с матерью отец. Может быть, именно поэтому Вероника однажды и не нашла в себе сил оттолкнуть Эдика, и он пристал, прилип, приварился, присох, отчего вся ее жизнь закружилась и поплыла мимо, как плыла потерявшая очертания лепнина потолка.

– Душа моя, дома ли ты? – воззвал Эдик с порога и аккуратно повесил на вешалку пожелтевшую джинсовую куртку, расправив на ней плечи. – Одни ли мы с тобой, наконец?

Вероника закусила губу и собралась с силами.

– Что случилось с моей красавицей? – продолжил Эдик, войдя в комнату. – И не вижу я ни радости в глазах твоих, ни угощения на столе. Ну-с, объяснитесь, Вероника Мироновна, моя прекрасная донна. Чему я обязан такой холодной встрече?

– Эдик. Мне надо поговорить с тобой. Так дальше продолжаться не может. Нам надо расстаться, – произнесла Вероника безжизненным речитативом. Потом встала, набрала побольше воздуха и поставила точку: – Я прошу тебя. Собирайся и уходи.

Все дальнейшее заняло совсем немного времени. Вероника не впервые делала попытку расстаться со своим молодым любовником, и каждый раз все происходило точно так же. Сначала шел нарастающий звук реплик, ее нервный и испуганный тон, отступление, затем его вкрадчивый и насмешливый голос, напор и – удар. Сильный удар по лицу, скорее, по уху, который отбросил Веронику к стене, и она на несколько мгновений потеряла сознание.

– Душенька моя, да ты опять помешалась, – укоризненно прошептал Эдик и поднял на руки покорную Веронику. – Ну разве так можно, моя несравненная? Мы с тобой никогда не расстанемся. Сейчас я положу тебя... Вот... И сам накрою на стол, у нас впереди праздник. А ты пока поспи. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива, награда моя, моя королева! Не бойся, я не оставлю, я не оставлю тебя...

Он достал из пакета водку, налил. Осторожно, чтобы не задеть краснеющую Вероникину щеку, подложил руку ей под голову и поднес полный стакан:

– Выпей, душа моя, выпей. Как жестока жизнь, а ты так хрупка! Давай с тобой оставим все и обретем крылья, и пусть унесут они нас от скорбных превратностей судьбы туда, где мы будем счастливы...

Как ужасно звенело в голове, и как похоже он говорил... Мама, папа и она, Вероника, совсем маленькая – в тех временах, которых не помнит. Но сейчас это больше не было больно, пылали ухо и щека, горела шея от его руки – вот она, реальность, и она была сильнее. Если он захочет и ударит еще раз, Вероника совсем перестанет чувствовать душу и сможет хотя бы немного отдохнуть.

Она закрыла глаза, выпила водку практически залпом и, медленно кружась, стала проваливаться в никуда, остатками сознания отмечая, что на сегодняшний день все самое страшное позади.

(зайин) T

Ты слышал, Путник, что мысль материальна. Но был ли согласен?

Быть может, ты присутствовал при спорах на эту тему и ловил насмешливые взгляды, если сам подобное утверждал.

Не ты ли отменял возможность творить материю мыслью, скептически поглядывая на тех, кого считал романтиками и слабыми людьми? Не ты ли утверждал, что сильный духом человек не станет искать утешения в самообмане и говорить, что после смерти жизнь продолжается?

В книгах человечества заключены объяснения любым явлениям, даже тем, что укрыты старательно. Множество ответов на самые невероятные вопросы хранят в себе творения великих.

Праздник постижения для исследователя долгов. Богат и насыщен опыт того, кто рискнет примкнуть к этому торжеству, прежде чем настанет день, когда искатель не найдет в себе следующего вопроса.

Для того же, кто в начале пути, пещера приоткрывает вечную историю Пигмалиона, ибо за образом этого художника скрывается образ Бога.

Мал был Пигмалион, и малое творение стало его судьбой.

Человек наделен способностью созидать реальность своего завтрашнего дня, давая направление мысли в дне сегодняшнем. Именно в этой особенности живущего и заключена тайна творения «по образу и подобию». Добры его помыслы или злы, он будет протраивать свое завтра столько, сколько понадобится именно ему для его школы.

Если бы ты не был измучен своим восхождением, Путник, и не спал бы так крепко, то непременно послал бы сейчас пещере импульс протеста.

Искалеченные судьбы просчитаны?

Сиротство обдуманно?

Жестокие смерти людей ими же сотворены?

Но знаешь ли ты, школу скольких дорог нужно пройти, чтобы не ошибаться в счете?

Вспомни, как лепят из пластилина дети, сминая в единый ком брусочки разных цветов.

И не возмущайся тому, что творения бывают разными.

Среди тех, кто сражался со стихией, именно твои мысли о безопасном приюте оказались самыми яркими. Именно ты, сам того не замечая, мечтал спастись страстно, не сомневаясь, что дойдешь до цели, тогда как другие просто перемещались, думая об усталости, о своем страхе, о том, что тропинки петляют и вряд ли удастся выжить. Кто-то сожалел об оставленном, кто-то старался превозмочь боль, кто-то отрешился от дороги, потому что так было легче, или продолжал в мыслях спор, который когда-то не успел завершить.

Ты один видел цель и движением мысли своей ее созидал. Каждый нашел то, что искал, сотворив в помыслах свое сокровенное. Вот и обещание «по вере воздастся» протягивает людям ключ от той же двери. Потому что, изо дня в день размышляя о том, во что верит, человек наделяет собственную мысль все большей плотностью, чтобы соединиться с ее воплощением впоследствии.

Оттого и посмертные встречи у людей разные.

Путник, тебе знакомы люди, гадающие и спорящие о том, жил ли на самом деле когда-либо тот или иной Учитель человечества?

Но чем больше последователей имеет Учитель, чем сильнее и истовее людская вера, тем крепче и реальнее тот, в кого люди уверовали однажды.

Не только верующие и чтящие законы своей религии укрепляют мыслями того, кто для них божество. Отвергающие факт его существования помогают им.

Ибо чем мощнее воин мысли, чем больший заряд ярости он несет, тем крепче стоит отторгнутый. Чем реальнее, вещественнее образ, тем ярче будет грядущая встреча.

Воистину «возлюбите врагов», ибо своей ненавистью вы множите их силы.

Начиная с этой осени

Начиная с этой осени, в жизнь вошла удивительная тишина. Соня прислушивалась к себе, ночами спала крепко, но ей казалось, что где-то поблизости обитают вещие сны, и скоро она с ними встретится. Днями подолгу гуляла с собакой, рассматривала людей, прислушивалась к случайным разговорам и чувствовала себя странно. Казалось, она пришла в человеческую жизнь откуда-то, где носила другое имя. Она ничего не знала про этот мир. Ничего не знала про людей. А те неоформленные знания, которые она все же хранила, держались запертыми, и неведомо где затерялся ключ. Соня смотрела из зрительного зала на самую себя и пыталась понять, для чего родилась на свет.

Сначала она думала, что Соня не хуже и не лучше других. Потом что Соня хуже. Потом что Соня – это Соня.

Она и раньше любила книги. Но теперь, когда они появились повсюду, покупала постоянно, читала с упоением, и старая бабушка тревожилась уже не из-за шумных и поздних сборищ, а из-за поселившейся в доме тишины. Тина думала, внучка заболела, и по утрам чуть слышно скреблась в дверь:

– Покушай кашку, Сонечка...

Соня ела. Теперь уже осталось очень мало из того, что могло порадовать Тину. Разве хороший аппетит любимого ребенка.

Последняя работа оставила достаточно денег, чтобы не спешить искать новую. Соня учила английский язык и бродила по разным заведениям, которые занимались нетрадиционным лечением.

В это время появилось огромное количество рекламных объявлений об услугах магов, потомственных целителей и открывателей третьего глаза. Это любопытно, Соня приходила на всевозможные встречи и слушала лекции. Из обилия информации выбирала важное по крохам и искала дальше, будто в поисках должен был отыскаться кто-то способный заглянуть за горизонт, кто-то созвучный сердцу.

Парочка магов показались интересными. В них чувствовалась энергия, глаза горели, и впору было подумать, что они сумели приподняться над рутинной. Возможно, Соня и походила бы на лекции к кому-нибудь из них, но магов, к несчастью, она заинтересовала как женщина. Это в ее планы не входило.

Друзья приглашали на встречи. Иногда она соглашалась. Но народ оставался неудовлетворенным, Соня больше не прикасалась к вину, отказывалась петь и нарушала настроение в компании.

– Сонь, ты что, зашилась? – шутили приятели. – А песни при чем? Или без рюмки не поется?

Она не обижалась. Ни горячительные напитки, ни песни под гитару, ни знакомства с мужчинами ее больше не заводили. Она думала, что спела свои песни, выпила свое вино и что мужчины для нее на этой земле не существуют.

– Зачем тебе все это? – любопытствовали при виде разложенных книг и тетрадей соседки, забежавшие за луковицей или солью.

– Работу ищи! Сейчас такое время, можно наконец вылезти из дерьма! Потом считаешь свои книги! Дура ты, упустишь шанс! – дружно негодовал знакомый народ.

«Я в дерьме? – размышляла Соня. – Интересно. Получается, что я в дерьме пожизненно. Принюхалась и не чувствую».

Она нашла и вытащила из засунутых в самую даль антресольных чемоданов мамыны записные книжки и несколько писем, которые чудом сохранились. Чудом, потому что Соня

раньше все уничтожала. Кроме рисунков своих детей. Чтобы дети знали, как она их любит. А мертвым, считала Соня, доказательства не нужны.

Она перечитала те цитаты из записных книжек и блокнотов, которые мама считала важными. И сожгла все до одной. Они не давали ответов.

За книжками последовали письма. «Сонька, ты в последнее время ведешь себя плохо, – писала летом далекого года мама. – Ты совершенно не считаешься со мной и бабушкой. Конечно, куда мы денемся?» Мама делась. Соня не хотела хранить эти письма.

– Все-таки ты придурочная, – говорила ей старая приятельница. – Ну почему ты не можешь совмещать? Бросаешься из одной крайности в другую...

Похоже, приятельница была права.

Перед рассветом, когда все еще спали, Соня подходила к яснеющему окну и всматривалась в небо. Если смотреть долго, небо размазывалось, и тогда казалось, что в вышине видятся тончайшие фигуры существ, похожих на эльфов. В одно такое утро Соня подумала, что, может быть, потому и не останавливалась раньше, что знала: если это случится, больше она к старой жизни не вернется.

Вместе с детьми она убирала и украшала дом. Втроем они собирали на заросших газонах клевер и расставляли по вазам. Соня снова разбирала шкафы в поисках ненужного хлама и хотела вычистить все, что возможно. Однажды она раскопала папку, и ей прямо в руки лег листок с забытым стихотворением.

«...Ту беглую себя, которую ищу, с которой я должна соединиться, не нахожу, и мне, как жалкому плющу, к кому теперь припасть? Вокруг кого обвиться? К кому бы ни пришла, я скоро устаю... Куда бы ни пришла, я всюду не на месте... И только нищие, которым подаю, меня сегодня в спину крестят...»

Внизу листка стояла дата. Эти строчки написаны шесть лет назад, когда тишина была в доме редкой гостьей, и Соня почти не оставалась одна. Ей стало очень странно и немного тревожно, потому что стихотворение оказалось написанным словно про сегодняшний день. Пусть будет под рукой – решила она и убрала папку недалеко, чтобы на досуге перечитать свои стихи.

Прошел год. Соня тихо пересидела мистическую цифру 40, дня рождения не отмечая. Она думала, что вошла в «честный возраст», ведь именно так каббалисты называли эту дату. Интересно, была ли она честной раньше? Ей казалось, что да, и она недоумевала.

«Зачем это все? – думала Соня. – Родился, женился, размножился, умер. Существует ли закон, который можно соблюсти? Может ли человек быть хорошим? А я? Я могу? Что знала о жизни мама? Всего сорок пять, когда умерла. Теперь я понимаю, как она была молода. Может, я тоже скоро умру, ведь я курю, как она. А Тина? Она что-нибудь знает о жизни? Ведь ей так много лет. Любила ли Тина кого-нибудь, кроме меня? Думала ли об этом? Думала ли вообще? А отец? Ведь он такой интересный, так много знает, но почему эти знания не приносят мира его душе? Куда все бегут, почему вокруг людей такой грохот? Неужели все удовлетворены, ведь они ничего не пытаются изменить?»

Почему все женщины поголовно наезжают на мужиков? Если я чего-то искала, общаясь с ними, и отстаивала свое на этот поиск право, то, возможно, мужчины тоже находились в неведомом поиске. У меня много друзей-мужчин. Я видела их слезы и гнев, их слабость и готовность к полету, их недоумение, вызов, усталость... Глупо искать себе пару, когда стая в забеге, – размышляла Соня. – Но тогда почему и мужчины и женщины так боятся оторваться от общепринятого?»

«Мужчины, завоеывая женщин, хотят отделаться малой ценой». Соня слышала это много раз. Если ты идешь по дороге и видишь прекрасное дерево, – рассуждала она, – ты можешь подойти к нему, погладить ствол, прикоснуться щекой к коре и опереться на него. Ты можешь посидеть в его тени и даже построить под кроной дом. Но когда ты идешь по рынку

и видишь вязанки дров, то, если в твоём доме холодно, мысль возникает одна. О цене. Женщины сами назначают себе цену, потому что так принято. Ресторан, цветы, театр – хватит? И чтобы не в первый день. Ты не дешёвка. И сколько он за ней ходил, прежде чем она легла? В чём же тогда виновны мужчины, если женщины сами ведут себя как товар?»

Самые удачливые Сонины «сестры» в своих торгах были виртуозны. А учиться следовало только у того, кто сам преуспел, это Соня помнила с детства и несколько раз примеряла на себя одежды обольстительниц. Получалось. Но души не затрагивало. И вопросы не уменьшались.

Почему люди боятся смерти? Можно ли прожить так, чтобы не было страшно умирать? Почему Сонин отец чтит умерших больше, чем живых? Почему, если Соня вдруг посмеет забыть о дне рождения или дне смерти Эстер, отец не думает о том, что у его дочери болен ребенок? Почему ищет осуждения, а не оправдания?

Соня приезжала к отцу нечасто, но по телефону они общались постоянно. Он по-прежнему не скрывал своего презрения к Тине. По-прежнему доводил дочь до белого каления, критикуя и унижая. Она не знала, что почувствовала бы, если бы вдруг он одобрил ее действия.

– Ты должна подумать о детях и вернуть им отца.

– Я у них отца не отнимала.

Сонины дети никогда не слышали от нее обидного слова о Саше. И она не попрекала Осипа за то, что он по-прежнему «отнимал» у нее давно умершую мать. Одно такое возражение повлекло бы за собой поток возмущений с его стороны. По-настоящему вступить с ним в борьбу Соня боялась.

– Ты что, собираешься замуж за другого? Или всерьез надеешься, что найдешь кого-то лучше? Так и запомни: не найдешь.

Она долго не могла успокоиться. «Ну почему? Почему он все время причиняет мне боль? – думалось ей. – Что он получает от этого? Что произошло с ним самим и когда? Отчего он утратил милосердие?»

Защищаясь, она тоже была больно. Поняв это однажды, почти научилась контролировать себя в гневе. Но ее отец не гневался, и на него никто не нападал. Он любил свою дочь, и Соня это знала. Потому что он на нее обижался. «Разве ты будешь обижаться на того, кто тебе безразличен?» – думала она. Но иногда, зная, что пора уже позвонить и спросить о папином здоровье, его единственная дочь не находила в себе сил на звонок. Прежде чем набрать номер, она должна была остудить свое сердце до бесчувственности или подготовиться к обороне.

Соня размышляла о целителях. Ей были интересны невидимые процессы, о которых часто говорили: «Их не существует». И снова она сидела на лекциях, слушала, рисовала, записывала и сопоставляла.

Почему в центре ладони словно начинает стучать молоточек, если прикоснуться к чему-то, что у человека болит? И тогда боль проходит или уменьшается. Соня замечала это много раз. Но как это происходит?

Почему, когда подносишь раскрытые руки к чьей-то голове, то через пару минут у человека начинает расплываться взгляд? Некоторые люди отдаются процессу, некоторые, наоборот, готовы разметать собственные кости, лишь бы доказать: на них ничего не действует. Но как бы они ни старались, как бы ни прятали от других и себя истину, тот факт, что воздействие существует, для Сони был очевиден.

Честный возраст. Допустим. Наплюнуть на молву, но Соне-то известно – сейчас она положительный персонаж. А может быть, она просто «никакой» персонаж, как в детстве? И что дальше? Ответов не было.

Она заходила в церкви, но вечно одетой неправильно – то в джинсах, то без платочка. Старухи шипели, она едва успевала поставить свечи. Пару раз пыталась заговорить со священниками:

– Здравствуйтесь, батюшка. Я Соня.

- С чем пришла?
- У меня много вопросов.
- Ты когда в последний раз причащалась?
- Я не причащалась.
- Тебе надо покаяться.
- Покаяться?

Священники смотрели выше Сониной головы. Ей это напоминало что-то, чего помнить не хотелось, и она поспешно уходила прочь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.